

Николай Гайдук

Похвала Енисею

Жизнь—река с характером, и не всякий пройдёт по воде аки посуху, кто-то утонет, кто-то, едва не захлебнувшись, на берег выскребется, а кто-то потеряет человека близкого, и тут уже без ругани, без проклятья, камнем брошенного в реку, не обойтись. Но бывает и так, что река заслуживает только похвалы. Так, по крайней мере, думал Скороход, однажды рискнувший рвануться в побег из Заполярья.

Родившийся на берегах Волги-матушки, человек этот всей душою прирос, прикипел к Енисею-батюшке. Он был премного благодарен Енисею: за жизнь, чудом спасённую, за любовь, на берегу найденную.

Несколько лет Скороход на разных судах скороходил по Енисею, всё не мог рекой налюбоваться. Ходил он и простым матросом, и маслопупом, то бишь мотористом. Какое-то время пахал в рыбнадзоре—моторкой, как плугом, с утра и до вечера бороздил пашню великой реки. По ночам, гоняясь за браконьерами, он ходил по чернозёму такой воды, где сам чёрт обломает рога, а ему хоть бы хны. «Тунгуска помогает,—шептались по углам,—шаманка». Потом работал он охотоведом, страшной которого окрестные хапуги не видали. Однажды районного прокурора взял на притужальник, сурово, но спокойно объяснил:— Вас, обижающих природу, много. Кто её защитит? Карабин я у тебя изымаю. Протокол...

— Погоди!—перебил прокурор.—Ты, может, не узнал меня?

— Это ты меня ещё не знаешь,—Скороход помрачнел.—Что нам законы, когда судьи знакомы? Так ты, наверно, кумекаешь, да?—спросил он и вдруг улыбнулся: каким-то нервным тиком иногда растягивало губы ещё со времён заключения.

Улыбка у него железная—после конвоиров, лютовавших в Заполярье. А вот глаза—глаза на редкость нежные. Ясно-лазоревый взгляд, отличающийся детской наивностью, кого-то удивлял, кого-то раздражал. И ещё одна деталь, штрих на портрете: левую бровь почти целиком ножом сострогнули в заполярном бараке—малолетку не дал изнахратить.

Где бы ни работал Скороход, кем бы ни работал—Енисей всегда под боком, точнее, под сердцем. И жену себе, кроткую смиренную тунгуску,

он раздобыл в Енисее—ходил такой слушок. Он даже сына хотел назвать—Енисей, но в красноярском загсе тётенька упёрлась, да и жена смутилась, пришлось уступить—правда, только букровку одну, в результате чего сын у них стал—Елисей.

Когда сынок дорос до второклассника, отец спросил:

— Как у тебя с географией?

— С какой гео... графикой?

— Собирайся. По дороге расскажу.

А было как раз перволетье, каникулы.

Сынок помрачнел, но от папы просто так не отвяжешься.

И вот они вдвоём—один Скороход, а другой Тихоход—приехали в Туву и полезли чёрт знает куда—под облака. Добрались до озера Кара-Балык в Саянских горах, где зарождается Енисей, там зовущийся Бий-Хем, что по-тувински значит—«большая река». С каждым километром набирая силу и скорость, обрастая мускулатурой притоков, Бий-Хем переступает через первые пороги и шумно с боку на бок перекачивается по взмыленным камням перекаатов, устремляясь к Тувинской котловине, и там, в гранитистых ладонях межгорной впадины, у города Кызыла, первородный Бий-Хем, Большой Енисей, сливается с Каа-Хемом, Малым Енисеем. По-братски обнимаясь—вот уж воистину водой не разольёшь,—две реки становятся единым полнокровным великаном, на многотрудном и многодлинном пути в океан сдвигающим горы, ласкающим степи.

Потом, когда вернулись, Скороход поинтересовался:

— Сынок! Ну тепер ты понял, что такое география?

Пацан, исхудавший, искусанный комарами и гнусом, изголодавшийся на сухих пайках, волчком глядя на отца, внезапно разулыбился:

— Надо было дойти до Игарки или Дудинки.

— А вот это по-нашенски!—отец пришлёпнул сына по плечу.—Не испытывай трудностей—ума не наберёшься.

Жили они тогда в Красноярске, а время на дворе было весёлое: высохла река народных слёз по великой утрате вождя, и началось великое разоблачение культа личности. И вот однажды молодая директриса, узнав биографию Скорохода,

позвонила ему, пригласила на открытый урок, посвящённый страшным страницам ГУЛАГа. Скороход отказался и внезапно предложил совершенно другую страницу своей биографии:

— Давайте лучше я вам о Чехове маленько расскажу, о том, как я встретился с ним, как душевно мы поговорили.

Директриса трубку чуть не проглотила — так широко раззявилась.

— Асиян Кирьян... Кирьянович, — от изумления директриса подзаикнулась, — это где же вам так повезло?

— А тут, за огородами, — на голубом глазу ответил он, — в нашем Красном Ярске.

Помолчав, директриса с потаённой усмешкой спросила:

— Вы так давно живёте?

— Ой, давно, голубушка. Давно. Просто я хорошо сохранился на благословенной вечной мерзлоте.

Часть первая

.....

Глава 1

Память не закроешь на замок, вот почему временами так близко, так ясно мерещится тундра, полярная ночь, мороз кайлом раскалывает камни над рекой, пластаёт огромный костёр, который, кажется, не греет ни черта — всё тепло под себя подгребаёт осатанелая стужа.

Возле того «холодного огня» Скороход услышал нечто странное: человек рассказывал о том, как побывал в преисподней.

— Картины Ада, — убеждал он, — все эти кошмарные круги, талантливо накрученные Данте Алигьери, бледнеют и меркнут перед кругами Ада стройки пятьсот три, которая скоро провалится во глубину извечной мерзлоты, где хорошо себя чувствуют только мёртвые мамонты. Поверьте мне, ребята. Я там бывал.

Кострожоги хрипло хохотали:

— Заливаешь, Баян! Хватить дуру пороть!

— А где?... — не понял Скороход. — Где вы побывали?

— В девятом круге Ада, — отвечал рассказчик, — бывал и там, где мамонты лежат.

Кругом и так-то страшный холодрыга до костей пробирал, но в ту минуту Скороходу стало ещё холодней. А тот, который побывал в девятом круге, он холода не чувствовал. На нём болтался лёгкий старый клифт, чтоб не сказать — пиджак, грудь нарастапаху; большая седая башка «босиком» — стрижка не налысо, но очень коротко; руки без рукавиц, на ногах невзрачная обувь, пригодная разве что для комнатной ходьбы.

Дальнейшему развитию сюжета помешала команда строиться и топать в сторону барака: шаг

влево, шаг вправо считается попыткой к побегу — конвой стреляет без предупреждения.

Тот, который побывал в девятом круге, внезапно оказалась рядом.

— Приходи ко мне, Касьян, потарабаним. Ты учитель, а я ученик. Я когда-то бурлачил на Волге и отлично помню деда твоего! — заговорщицки шепнул он и скрылся в тёмно-угрюмой колонне.

«Сумасшедший? — опрометчиво подумал Скороход. — Но откуда известны ему все эти подробности? Ну, допустим, имя настоящее моё и учительство моё — это можно ещё разузнать. А вот про деда-бурлака — это просто фантастика».

В краснокожом советском паспорте было когда-то чётко указано: «Скороходов Касьян Кирьянович», — но хмурый сонный писарь окунул перо в тёмный омут чернилницы, каплюху жирную ляпнул на бумагу, и в тот же миг родился некто Асиян. И фамилию тот же писарь подрубил, потому что не знал, как склонять: «Скороходов, Скороходом, Скороходим, Скоробродим, ну, короче — Скороход, и нечего долдонить».

Работая сельским учителем, Скороходов ребяташек учил «не тому, не по уму», вот и загремел на Крайний Север, где в ту пору плечи развернула стройка номер 503 — Трансполярная магистраль, устремлённая в светлое будущее.

День за днём надрывая пупок на строительстве, Касьян-Асиян всё больше убеждался в том, что стройка действительно обречена на провал — на провал в тартарары полярной мерзлоты. Кто-то из начальников это понимал, но возразить кремлёвскому усатому мечтателю не отважился. А кто-то искренне верил в эту завиральную идею — железная дорога от Заполярья до Сочи.

«Это будет не железная дорога, а золотая, — всё твёрже, всё печальней убеждался Скороход. — Вместо шпал, крезотом покрытых, тут кости человеческие, матюгами крытые, лягут ряд за рядом. И я туда же лягу, если не рискну!»

Побеги случались редко, даже не побеги, а попытки, почти всегда кончавшиеся пулевой дыркой на затылке беглеца, с трупом которого чаще всего не заморачивались: в лагерь тащить тяжело, неохота, куда как проще отрубить две кисти рук — по отпечаткам пальцев подтвердить фамилию покойника, задарма доставшегося воронью, песцам, волкам, росомахе или медведю.

Перспектива кошмарная, но Скороход уже принял решение: десять лет он всё равно здесь не отбарабанит, содохнет, так что — пан или пропал.

А тут ещё здешний пророк удачу ему напророчил — это был тот самый человек, который покружил кругами Ада.

Глава 2

Слепой Баян — так его звали, хотя он играл на гармошке и не был слепым, а только прикидывался:

христарадничал когда-то на московских вокзалах и по электричкам — песни пел про судьбу и неволю.

В «Слове о полку Игореве», как позднее узнал Скороход, подобный Баян был назван вещим внуком бога Велеса. Этот Баян, самородок с большой головой, самоуком докопавшийся до многих мудростей, не претендовал на родство с великими божественными силами. Но таланты его были велики. Говорили, что он обладает сверхъестественными способностями: общается с мёртвыми, предсказывает будущее. А поскольку оно, это самое будущее, по словам предсказателя, представлялось далеко не светлым, его законопатили на Крайний Север, где он тут же выдал на-гора очередное своё предсказание — и опять худое, хуже некуда.

Глядя в глаза начальнику стройки, он объявил, что этой Трансполярной магистрали жить остаётся недолго, так же как недолго царевать главному мечтателю Кремля. Сказал, что люди в эти вечные мерзлоты закопают пятьдесят миллиардов рублей, а потом разъедутся по всему Советскому Союзу, оставляя тут ржаветь десятки паровозов и рваные стальные нитки магистрали.

Гордо, как свободный человек, стоя в наручниках перед охранниками, он говорил голосом, подобным Левитану:

— Братья и сёстры! А если бы те пятьдесят миллиардов рублей взять бы да вложить в культуру, литературу, в хозяйство сельское — вот вам, товарищи, и коммунизм, — тут перестал он Левитану подражать и перешёл на доверительный тон: — Даже Гегель, немец, и тот соображает. Я с этим философом встречался — вот как с вами. И вот что он поведал мне: «Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель», — глубоко вздыхая, Слепой Баян качал большой головой и спрашивал: — А у вас какая цель? В Заполярье, в лихом Зазеркалье, миллиарды зарыть в мерзлоту? И туда же зарыть миллиарды людей?

Слепому Баяну, как несомненному немецкому шпиону, сделали внушение с пристрастием, после чего он вроде как прозрел — перестал заниматься пророчеством, а если иногда и делал это, делал только втихаря и только для своих, неизвестно как определяя, где свой, где чужой. Скороход для него оказался своим.

— У тебя получится, — благословил Слепой Баян, — пройдёшь по воде аки посуху.

Бежать Скороход собирался впопайку — никому и словом не обмолвился — и потому был крайне изумлён. Откуда мог узнать Слепой Баян? Значит, он и в самом деле — предсказатель будущего?

Глава 3

Погода развесеннилась, и по реке недавно пронесли брильянтовые горы ледохода, курганы ледолома,

ледозвона. Пронесло, да не совсем, кое-где заторы образывались, и вот как раз на это был расчёт, правда, очень рискованный.

Быстро бежал он, улепётывал вроде бы со скоростью пули, да только куда там — против двух бесноватых, голодных овчарок, давящихся яростным лаем. Стремительно приближаясь, овчарки прижали беглеца к воде, и вот отступить уже некуда, и выбирать не приходится: или в зубы собакам, в злую мясорубку угодить, или... или...

«Господи! — взмолился он. — Спаси и помилуй!»

Солнце в это мгновение ярким яблоком вывалилось вдруг из плетёной корзины низких туч-облаков, в глаза собакам и стрелкам огненно плеснуло — ни черта не видно.

Ретируясь к воде, Скороход наступил на тонкое какое-то блестящее стекло, под которым смутно проступали донные камни и промелькнула серебрушка мелкой рыбы. Он сделал шаг, ещё... ещё... стекло под ним потрескивало, но не ломалось. В голове гудело: кровь кипятком клокотала, и адреналину полные штаны — это он позднее зубоскалил над собой. А тогда не сразу понял, что происходит. И только на стрежне, на белогривой буйной быстрине, дошло до Скорохода: по реке идёт он как по тропе сухой. Идёт, словно тропочка в лесу или на какой-нибудь поляне сенокосной. Ни лая собак и ни выстрелов Скороход не слышал — перенапряжение страшно велико.

Очнулся он только на другом берегу, за кривоколенными зарослями полярных берёз, едва ли не узлом завязанных жестокими ветрами лихолетий.

Нет, он, конечно, не прошёл по воде аки посуху, он же не Христос. Он пробежал по ледяному полю, по голубовато-зелёному затору. А когда пробежал — за спиной будто пушка грохнула, затор поднялся дыбом, и... затор противно завизжал и лихоматом закричал. Лыдины раздавили двух овчарок и одного охранника, а второй, паникуя, отбросил винтовку и рванулся подальше от берега.

Оказавшись за камнями в безопасном месте, Скороход заметил: одежда на груди пылает петухами свежей крови. Он переполохнулся: подстрелили? Но нет. От страха, от невероятного перенапряжения «рукомойник» прохудился — кровь капелюхала носом. Только это ещё полбеды.

С головою что-то приключилось.

В ту минуту, когда Скороход оглянулся — нет ли погоня? — над берегом поднялся какой-то богатырь.

Так он впервые увидел Дух Енисея — дух седой, голубоглазый, одежда в ярких блёстках рыбьей чешуи. Видение было коротким, но крепко впечаталось в душу, в сознание.

Глава 4

Вертолёт, ножами винтов разрубая капусту раннеутреннего тумана, громоподобным чудищем — как только не падал — медленно и низко пролетел над

Енисеем. Река покрылась кружевами крупной и мелкой ряби, морозными пупырышками дрожи. Пригнулись травы, головы попрятали цветы. С днём рождения посыпались старые листья. А на вербах, стоящих у воды, серым пухом разлетелся юный, неокрепший вербоцвет. Эта крылатая летающая мельница, в труху перемоловшая покой и тишину, сделала круг над рекой, потом куда-то в деревья и скалы раза четыре харкнула огненно-свинцовыми харчками.

В какую-то минуту вертолёт на бреющем прошёл неподалёку от Скорохода. Напугал. И пришлось беглецу прыгать в реку, прятаться под берегом и там, под корягой, сидеть, как сом.

Но скоро всё утихло. Вертуны, видать, решили: беглеца затёрло льдом, раздавило, как тех сторожевых собак и одного охранника, а второй, в живых оставшийся, от страха языка лишился — ни мычит ни телится.

Это хорошо, что так они решили.

И хорошо, что Скороход основательно подготовился. Всё было в сухости, в целости: два кобробка со спичками, залитые смолой — от сырости; махорка от собак — следы припорошить; острый нож; накомарник и зелье от гнуса; прочная леска, два крючка, блесна.

Хорошо-то хорошо, да плохо, что простыл в ледяной купели, пока отсиживался. Да так серьёзно, капитально простудился — дрожит как липка, вот-вот осыплется.

Ему вдруг показалось, что никакая это не весна — осень пришла в Заполярье. Ветрогоны, сунув пальцы в рот, разбойно посвистывают, пьяно шатаются над рекой, над тундрой, в дугу сгибают кусты, деревья, холодеющую воду, словно шубу, шерстью вверх выворачивают.

«Правда, что ли, осень?! — поразился Скороход, когда увидел берег, белым-белый от снега. — Как это так? Неужели?»

От изумления он даже перестал дрожать. Стоит — разглазастился, не может понять, что такое.

Берег был заснеженным не весь — там кусок белел побольше, тут поменьше. Снег лежал большими лоскутами, яркими на зелени сырого перетравья. Только снег этот... странный какой-то. Временами снег как будто шевелился, разрастаясь в размерах или, наоборот, уменьшаясь. Может быть, он таял, этот первый снег, и поэтому шевелился? Первый снег — не снег, это подзимок, а подзимки часто умирают под лучами солнца, хотя бы и осеннего, скупого на обогрев. Да, подзимки тают, уходя под землю. Но никакой подзимок никогда не может улететь на небеса, где он родился. А тут происходили именно такие чудеса — снег улетал в небеса. Вот один сугроб взлетел, а вот другой. А потом раздался выстрел, и огромные снега внезапно закричали, запаниковали и одномахом взлетели, и вскоре белоснежное

облако скрылось где-то в синеве на тихом и уютном дальнорбережье.

«Ах, вот оно что! — осознал Скороход. — А я подумал, у меня шарики за ролики заходят. Да как же это я мог позабыть?»

Ему доводилось уже видеть такие картины, рукой самой природы нарисованные: всегда, когда проходит Енисей, или даже вместе с ледоходом на Север устремляются многочисленные бело-серые караваны, облака гусей и лебедей. После дальних перелётов, на которых можно крылья отмахать так, что отвалятся, караваны гусей-лебедей опускаются на береговые поляны, садятся на луга, на острова. И вот тогда — особенно издали — можно увидеть большие «снега», будто при ясном небе неожиданно рухнувшие.

«Ладно, с этим разобрались, только легче-то не стало, — Скороход, стуча зубами, озирался. — Весна да осень — на дню погод восемь. Глядишь, и настоящий снег повалит».

Лихорадило так, что он спички ломал, сам себя проклиная: в каждой спичке — золото огня. За камнями, в заветерье, запалил костёр, несмотря на то, что опасался — дым привлечёт внимание.

«Надо отогреться, ё-моё, а то хана, — Скороход зубами так стучал, будто горох молотил. — Обутки надо просушить, только осторожно, а то могут ссохнуть, чёрта с два напаялишь. Ох, как трясёт. Изнобился. Простуда, зараза, змеей заползает в самые кости».

Во рту пересыхало — то и дело наклоняясь попить, Скороход увидел за спиной какого-то серебряного старца.

Оглянулся — никого.

А наклонился вновь над зеркалом речного омута — снова появилась голова серебряная.

«Ё-моё, так это же... — он обхватил двумя руками голову и застал. — Это же я сам, седой, как этот... когда только успел? Когда пробежал по воде аки посуху?»

— Ну, здорово, старик, — нервная улыбка растянула губы Скорохода. — Будем знакомы. Что дальше-то делать? Хвороба ломает, загнёмся. Обидно будет, да, старик? Мы так хорошо стартовали, и вот на тебе...

Серебряный старик молчал, а Скороход всё говорил и говорил, воспалёнными глазами зыряка по сторонам. Потом он шёл то каменистым берегом, то зеленодолом. Шёл, спотыкаясь, ноги не держали.

Треугольник далёкого чума врезался в небо над берегом. Чум слегка подрагивал, готовый отделиться от земли, воспарить в поднебесье.

Глава 5

Тунгусы, эвенки, оленей пасущие на побережье, подобрали русского бродягу. Наверно, догадывались, кто такой, но помалкивали, виду не подавали

и уж тем более не расспрашивали—вековой закон не позволял.

Понемногу поправляясь, отъедаясь на рыбе, на свежей оленине и жирных бульонах, Скороход валялся на оленьих ровдугах или на чём-то похожем, замшевом, мягко-приятном. От скуки смотрел в потолок—три метра вышины. Считал и пересчитывал длинные шесты, из которых построен чум. Поначалу вышло двадцать три шеста, затем перепроверил—двадцать пять.

Посредине чума восседала прямоугольная железная печка, одновременно служащая котлом отопления. Недалеко от печки—неширокий стол. Стульев нет, поэтому стол низкий, тут едят, находясь на полу, шкурами выстланном.

Печь, поскольку тепло на дворе, в чуме не топили, только разводили дымок от гнуса и комарья. Еду варили где-то за чумом—Скороходу слышен был треск большого костра, жадно разгрызающего сучья. Дожди перепадали временами, дробно стучали по стенам, кагились, пожуркивая. «Вот из этих дождинок мы делаем бисер!»—поздней пошутит юная тунгуска.

Бог ветра, или как он тут зовётся, иногда из тундры насылал прохладу, и тогда по целым дням в чуме костёр золотился, вытягивая дым в дыру на верхотуре, на перекрестье жердей. Железная печь веселела, розовея щеками, там что-то булькало, что-то шкворчало, аппетитно попахивая. Кроме жирного мяса, болезного бродягу потчевали вкусным оленьим молоком, диким луком, чесноком.

Сухопарая Огдо, хозяйка, тихая, как тень, редко попадалась на глаза, всё больше Корчагай, хозяйин. Появляясь в чуме и принося с собою запах вольной тундры, пронизанной ветрами, солнцем, Корчагай, не проронив ни слова, посасывал трубку-носогрейку, на манер пастушьей дудочки свистящую. Сноровисто орудуя ножом, он что-то ремонтировал, или заряжал патроны, или чистил ружьё—всё молча, спокойно, размеренно, так, как это делают только народы Севера: от того, кто не спешит, ничто не убежит.

Чаще всего над Скороходом хлопотала молодая кроткая тунгуска по имени Оленок. Склоняя и смакуя необычное имя—Оленок, Алина, Алла, Алка,—он стал называть её Алка-русалка. Но это позднее, когда Скороход маленько одыбался и увидел обнажённую тунгуску, выходящую из тихого омота—неподалёку от чума. И позднее, гораздо позднее он узнает о том, что знаменитый путешественник и географ Миддендорф называл тунгусов «французами Сибири». Что называется—не в бровь, а в глаз.

Всё это поздней, а пока, обихаживая больного, черноглазая, чернокосяя Алка-русалка долго не могла привыкнуть к чужаку, дичилась, осторожно подавая кусок ещё горячей оленины или чашку чая, спешила уйти, ловко изгибаясь тонким станом

и откидывая на двери шуршащие шкуры, плотные и крупные, на несколько мгновений открывающие небеса над тундрой. Но постепенно Алка-русалка попривыкла к этому непрошеному гостю, стала спрашивать:

—Кыче ужъёсты?

Это означало: «Как дела?» Но Скороход тогда ещё по-эвенкийски ни в зуб ногой и потому только повторял, как попугай:

—Кыче, кыче,—и добавлял:—Спасибо.

Иногда, уже на верхосытку, тунгуска кормила его, как ребёнка,—с ладони давала бруснику, голу-бику, красную и чёрную смородину, пахнущую росами, туманами. Он с удовольствием клевал всё это разнаягодье и одновременно будто бы ладонь тунгуски целовал, грубоватую, сызмальства в работу посвящённую ладонь.

Отвалявшийся, вволю отъевшийся, зарозовевший помидорами щёк, выпирающих из бороды отрастающей, Скороход вскоре почувствовал себя здоровым, бодрым, крепким мужиком.

Почувствовать это ему помогла черноглазая, чернокосяя Алка-русалка—однажды ночью приплыла под бочок Скорохода.

—Ты чего?—глуповато, пугливо прошептал он спросонья.—Рамсы попутала?

Девушка молча прижалась к нему. В голове Скорохода зашумело приливами штормящей крови. Левая бровь, ножом до половины когда-то стёсанная, вдруг сладковато заныла. На заполярной стройке он что-то слышал о причудах коренных народов Севера—геологам подкладывали жён своих и дочерей, хотя и на Руси когда-то существовал гостеприимный этот героизм... или как его? Гетеризм, говоря научным языком, чтобы матерный не применять. Но, помимо гостеприимного гетеризма—права гостя на жену или дочь хозяйина, у народов Севера имелась ещё одна причина: молодая чужая кровь омолаживала, горячила северную кровь.

Как бы там ни было—у Скорохода ум за разум зашёл.

С одной стороны—надо встать и уйти, он же не какой-то племенной жеребец, ради хорошей породы кобыл покрывающий. А с другой стороны—необходимо как-то отблагодарить это семейство, от неминуемой смерти спасшее. Необходимо. Но не так же, ё-моё...

Думал он одно, а руки делали совсем другое—так всегда бывает, когда сердце разум побеждает. Скороход внезапно обнял тунгуску, лицом зарылся в волосы, чем-то пьянящим пахнувшие, скрипнул зубами и шепнул на ухо ей:

—Может, мне остаться здесь? Пасти олений, белку в глаз стрелять.

Она ослепила белоснежной улыбкой, видной даже впотьмах.

—Паси,—горячо прошептала,—стреляй.

И в следующий миг чум содрогнулся, будто очумел, будто началось землетрясение, — чум покачулся, перевернулся, рассыпая все свои шесты и шкуры... С грохотом откуда-то упала и разбилась керосиновая лампа, грозя пожаром, — неподалёку мерцал в очаге жёлто-малиновый глаз уголька. И что-то ещё где-то рядом кувыркалось, смеялось и плакало в этом безумном землетрясении. А потом на какое-то время лишился он земного притяжения — взлетел над Енисеем и увидел исток его, кипящий в камнях Тувы, и увидел устье, огромной гусиной лапой лежащее на ледовитом краю океана.

А поутру, не зная, куда глаза девать, Скороход засобирился в дорогу. Он себя чувствовал мавром, который сделал своё дело и должен уходить. И все кругом тоже будто почувствовали это же самое. Корчагай, не позавтракав, засуетился, поспешил к оленьему стаду. Хозяйка, сидя на полу, что-то протяжно бормоча, словно отпевала керосиновую лампу, ночью убитую, так долго собирала ледышки мелких стёкол, точно хотела слепить воедино то, что слепить невозможно.

Перед уходом мелкий дождь посыпался — примета хорошая, только на душе у мавра-Скорохода в эти минуты было нехорошо.

Сапоги-скороходы сами собой уносили — подалее от гостеприимного чума, который постепенно превращался в небольшой треугольник, стоящий на берегу.

Остатки дождя перед глазами бусили, разноцветно переливаясь, и далёкий треугольник чума Скороходу представлялся драгоценным камнем, радужно сверкающим. И невольно вспоминалось то, что ночью там произошло, и возникала уверенность, что это уже не забудется, сладким ожогом останется на покаянной душе.

Размышляя по поводу мавра, своё дело сделавшего, он машинально поглядывал по сторонам, с удивлением замечая преобразования в природе: весна давненько переделалась в летнее платье — вот как долго проболел он, провалился в чуме.

И вдруг он заметил какое-то скользящее движение за деревьями на берегу. Пригляделся и внутренне ахнул.

Следом за ним увязалась Алка-русалка.

«Чертовка черноглазая! — душа Скорохода заныла. — Смотри, как расфуфырилась. Невеста, да и только. Всё одежда бисером обсыпана, и сапожки эти тоже... потопталась по бисеру...»

— Асиянка, — прошептала она, протягивая узелок, — я тебе на дорожку принесла мало-мало поесть. Вяленое мясо, рыба, ягоды сушёные, дикий лук. А вот это русские зовут... забыла как... мурмурка... — она с трудом произнесла слово «мурцовка», штука очень ценная в дороге и места мало занимает. — В этой мур... мурцовке сила, Асиянка, тут жир медведя в сушёном хлебе, с этой силой Асиянка нигде не пропадёт.

— Спасибо, — он смутился, принимая узелок. — Будем хлебать мурцовку. Мурцевать. А это что? — рассматривая пояс, украшенный орнаментом из бисера, Скороход удивился. — Всё у вас кругом бисером обсыпано: одежда, обувь, пояса и ленточки. А где вы столько бисеру берёте?

Чёрные глаза тунгуски заискрились:

— Дождь идёт мало-мало, мы собираем и сушим. — И что? Получается бисер?

Она сверкнула белизной улыбки. Поправила налобную повязку.

— Получается. Только дождь собирают тогда, когда радуга.

— Оригинально! — усмехнулся Асиян. — А вот это у тебя — это что такое?

— Дэрбэкэ — налобная повязка незамужних девушек.

— Понятно, — он посерьёзней. — А трубка зачем? Я не курю.

— Может, закуришь.

— Ну да. Может, закурю, может, запью. При такой житухе всё может быть. А это что?

— Игольница. Тут волос оленя, иголки, мало-мало нитки сухожильные. Унтайки, может, порвутся.

— Какие унтайки? У меня сапоги.

— Сапоги тоже могут мало-мало порваться. Бери. Знал бы он тогда, что это за игольница, что за иголки в ней — наверно, выбросил бы в Енисей.

Алка-русалка с этой игольницей недавно ходила к шаману — на лодке-долблёнке переплыла на тот берег, нашла столетнего хозяина Верхнего и Нижнего мира. Шаман священным дымом артыша, или арсы, можжевельника, загуманил всё вокруг, и в этом тумане-дурмане Алке-русалке явилось будущее.

Глава 6

Несколько дней и ночей Дух Енисея вволю покуражился, побушевал весёлым пьяным водопольем, туманы, как рубаху, раздирая на груди, лоскуты по берегам разбрасывая. Затем он образумился, вошёл в межень, «умеженился», как говорят на этих берегах. Река притихла на порогах, поскромнела на перекатах, кое-где обнажила оподолье берегов, островов, обсушились каменные рёлки, продолговатыми щучьими рылами высунулись.

Половодьем подточенные, упавшие береговые деревья объявились косматыми чудищами, обросшими тинной и хламом. Но самое жуткое чудище поджидало впереди, за поворотом.

Сначала показалось, будто островок, только плоский, и нет на нём ни деревца, ни травки.

Это была полузатопленная баржа. При полноводной реке она покоилась на глубине, а теперь до половины обнажился пробитый бок и тупое заржавлено-кровавое мурло. Баржа, как видно, ударилась о крепкую подводную каргу — гранитную хребтину, с берега сползающую в реку, чтобы

там служить пристанищем для разнорыбицы: под каргой собираются кучи всякого мусора, среди которого всегда навалом пропитания.

«На подобных баржах, — вспомнил Скорород, — брёвна бережней возили, чем нашего брата, каторжанцев несчастных, валом наваленных в трюмах, где можно задохнуться от зловонных испражнений, от густого дурнодуха заживо гниющих...»

Корма разбитой баржи от удара отурилась, отошла от берега, оставалась под водой, а тупая морда, лишаями ржавчины покрытая, обсыхала на отмели.

Недалеко от носового кнехта Скорород заметил зайца. То есть это он сначала так решил, а когда присмотрелся: «Песец, мать его! Полный писец! — улыбка нервным тиком растянула губы. — Вот бы грохнуть! Мясо...»

А песец тем временем спокойно, пристально смотрел на человека и облизывался. И что-то вдруг насторожило Скоророда. Жуткая догадка саданула по мозгам, отбивая охоту поймать, ободрать. Он криворото, брезгливо скривился, ощущая тошноту.

Видно, в трюмах баржи кто-то захлебнулся, выбраться не смог после удара о подводную каргу, вот песец теперь-то и жирует, пирует. Да и не только песец, много падких на дармовщину. И рыбы, и ондатры поживились, наверно. И ворон присоседился тут неспроста, сидит, сыто крукает, клюв подчищает.

Уже далеко отойдя от затопленной баржи, Скорород наткнулся на тайменя — дубиной угрохал на отмели.

Десятикилограммовый метровый речной поросёнок — то ли с дуру, то ли в азартной погоне за кем-то — на брюхе заполз, приелозил на разноцветно-галечную отмель, так далеко зарюхался, что развернуться и уйти на глубину не мог: белое пузо лежит на камнях, а святое перо — спинной плавник, всегда торчащий парусом, а теперь поникший, — сверху зацепилось за кривую ветку, над водой склонённую.

«Молодой, — определил Асиян, глядя на тёмные полосы на подсеребрённых боках тайменя — такие полосы бывают лишь у молодых. — Сварить бы поросёнка, только нужен котелок или ведро. Эх, ну да ладно. В стране вечно зелёных помидоров и сырая тайменятина сойдёт. Пожировал у тунгусов, пожил как белый человек, а теперь надо привыкать к звериной жизни, что я и делаю. Медведя вчера отогнал от малины, сам нажрался до отвала, а медведь стоял в сторонке, башкой качал, будто сказать хотел: ну до чего ж ты нахальный, это ж моя территория».

Из-за голенища сапога Скорород достал заточенную финку с наборной цветною ручкой — взялся чекрыжить нежное, сочное мясо красноватых розовых оттенков. Крупные прохладные шматки таяли во рту, и никаких костей не попадалось. Едок

восторженно прицокнул языком, седой головой покачал и вздохнул: ещё бы солдцы хоть щепотку — и тогда вообще благодать. А главное — зубов побольше бы во рту. Конвоиры, суки, порушили прикладами.

Наевшись до тяжёлого, барабанного брюха, Скорород улёгся на траву, полусонно глядя в небеса, орлиным крестом осенённые.

Орёл над Енисеем не парил, он, раскинув крылья, распластался на голубоватой вершине ветра, на хрустальной горе, снегами редких облаков закиданной, — не шевелил крылом, не двигался, блаженствовал.

«Вот оно, счастье! Мне бы так, ё-моё!»

Голова хмельно закуролесила, в глазах помутилось, веки сами собою закрылись, и перед ним потекла родимая Волга. Трёхметровый осетрина сиял драгоценной короной, какая и должна быть на царе-осетре. А рядом с могучим рыбьим царём сутилась придворная челядь — судаки, ерши, стерлядки, пелядь. Костерок, червонно-багряный цветок, лепестками телепался на ветру. Папаня над котелком колдовал, уху гоношил. «Запомни, — учил он сына лет двенадцати, — все осетровые — самые древние рыбы Земли. Они видели и помнят динозавров. Жалко, не могут сказать».

Потом Скорород разглядел бурлаков, будто бы сошедших с картины Репина «Бурлаки на Волге». Только это были другие бурлаки, современные. По берегу тащились арестанты: в каждой колонне по пятьсот, по тысяче и больше заключённых, да ещё в придачу штук двести пятьдесят охранников. И тащили эти бурлаки не какую-нибудь волжскую расшиву — плоскодонный парусный утюг, обычно гружённый каспийскою рыбой, тюленьим жиром, уральским железом или товаром из Персии. Бурлаки в арестантских одеждах волокли огромный белоснежный пароход, на палубе которого, на высоком троне, восседал усатый капитан, ароматным табаком дымил из трубки. А на башке усатого — корона, самоцветными камнями и золотом блестящая, та самая корона, которая недавно красовалась на рыбьем царе-осетре.

«Самозванец!» — подумал Скорород, только непонятно, о ком подумал — то ли о рыбьем царе, то ли об этом усатом, на троне восседающем.

Среди бурлаков Скорород разглядел родного деда своего. От природы будучи здоровей коня, слава такая ходила о нём, дед по молодости лет бурлачил вдоль по Волге-матушке. Будучи парнишкой, да и поздней, когда учительствовал, Скорород искал фигуру деда на картине Репина, искал и находил, поскольку зачастую мы видим то, что нам хочется видеть. Но теперь, когда приснились бураки, Скорород на месте деда вдруг увидел себя самого: вот он идёт, кожилится, потеет, запряжённый в бурлацкую лямку. А за спиною

слышится: «Шаг влево, шаг вправо—попытка к побегу! Конвой стреляет без предупреждения!»

Странно-причудливый сон помешал досмотреть чёрный ворон— подошёл и тихонечко, протроно потыкал наконецником длинного клюва.

Асиян подскочил, потирая правое подглазье.— Ты что? Сдурел?—закричал он, с ужасом осозная дикую выходку ворона.— Я живой пока ещё! Живой! Ах ты, зараза! Людоед!

Взмахнув крылами, «людоед» увернулся от брошенного камня—отскочил, а затем улетел, лениво подгребая ветер под бока.

Прихватив с собою остатки рыбы, каторжанец дальше по берегу почалал.

С началом навигации судоходство бойкое— Енисей кипит и белопенится под винтами разных пароходов, толкачей, перед собою толкающих баржи. Скороход, заметив судно вдалеке, благо-разумно уходил от берега, чтобы на глаза не попадаться,— мало ли какие там могут быть глаза: завидующие, злющие.

И вот однажды с первым солнечным пробрызгом, криворотом зевающий от недосыпа, он снова шёл по берегу и что-то заприметил на реке.

Из-под руки присматриваясь к далёкой какой-то букашке, ползущей по Енисею, он покинул прозористый берег, затихарился в ближайшем в укрытии.

Букашка вскоре превратилась в пароход— пытел и настырно бодался против течения, дымные тучи выкашливал горлом белой трубы, косо подрезанной, закопчённой по верхним закрайкам. Рваным серым платком за кормой трепыхалась одинокая чайка, плаксиво вскрикивая. Пароход всё ближе подходил. Уже хорошо различались надстройки, шлюпка на шлюпбалке, натянутая нитка леера, белая полоска ватерлинии, ниже которой проступало брюхо, огненно сверкающее свинцовым суриком. Виднелся якорь, многопудовою соплём висящий в железной ноздре. Виднелись калачи спасательных кругов, испятнанные буквами, издалека нечитабельными. И музыка, музыка во всю ивановскую по-над водой музыкалила. И так защемило в груди Скорохода, так захотелось бедолаге-беглецу из своего укрытия на берег выскочить, замахать руками, заорать, умоляя, подзывая пароход. Так захотелось в тепло и уют—спасу нет. Но здравомыслие держало, заставило таиться.

«Соблазн большой,—стучало в голове.— А ежели скрутят, властям отдадут?»

Пароход неожиданно стал замедляться, поджмая под себя широкий белопенный хвост. Разворачиваясь против течения, он осторожно причаливал.

Глава 7

Лицо капитана—классический портрет морского волка, флибустьера, много раз ходившего на

абордаж, где его поцарапали, порвали крючьями. У капитана даже фамилия из племени волков— Прибылой. Только в семействе волков прибылой— волк моложе года. А капитан— матёрый, по Енисею ходит-пароходит лет, наверно, пятнадцать,— может вслепую пройти самые коварные участки. Говорили, будто в молодости он однажды на спор так и сделал—Осиновские пороги прошёл с завязанными глазами, за что едва не загремел под суд. Но это, скорее всего, енисейские байки, легенды. Хотя Прибылой Парамон Парамонович, среди своих известный как Пароходович,— капитан действительно бывалый, тёртый, ушлый. Почти всегда— и в эту навигацию— Прибылой одним из первых пошёл вниз по течению, едва река очистилась, утихла от ледозвона.

Пароход «Ермак», за зиму подремонтированный, подкрашенный, опять запрягся в нелёгкую привычную пахоту—вдогонку за льдами на стройку пошёл. Теперь всё лето будет батрачить на благо Трансполярной магистрали, таская тяжёлые грузы, доставляя продукты.

Вынужденную остановку пароход сделал по причине трюмной течи. «Ермак» бросил якорь, команда, засучив рукава, занималась устранением проблемы, а Парамон Пароходович по шаткому трапу спустился на берег. Ничего, казалось бы, особенного— капитану захотелось подразмяться, ощутить под ногами твёрдую почву. И всё же было в этом что-то необычное. Раньше капитан присутствовал везде и всюду—хоть гайку откручивали, хоть какой-нибудь клапан, кингстон. А тут— брюхо парохода прохудилось, а капитану приспичило прогуляться по берегу. Не странно ли?

Мир тесен, и поэтому с недавних пор они были знакомы— Прибылой и Скороход. Встречались мелчком при разгрузке парохода на стройке 503, но успели выяснить, что земляки, оказывается.

Зная рискованный характер капитана, Скороход и сам немало рисковал, когда собирался покинуть укрытие— шагнуть навстречу Прибылому. Но то, что он сам рисковал,—это его проблемы. Беда, что капитана мог подставить: взять беглого ээка на борт— значит, в скором будущем самому пополнить ряды заключённых.

И всё же Скороход не удержался— вышел из-за укрытия, выпрыгнул как чёрт из табакерки. Но Прибылой при этом ничуть не удивился, глазом не моргнул; видно, нервы крепкие.

Покосившись на пароход— не видит ли кто?— капитан поправил морской бинокль, на сыромьятном ремешке висящий на груди.

Говорили недолго. То есть один Скороход говорил, а капитан, закурив, глядя в землю, хмуро слушал, фуражку в золочёных позументах озадаченно сдвигал— то на затылок, то на брови. «Как Стенька Разин!—вспомнил Скороход что-то прочитанное.— У того была привычка: сдвинет

шапку на затылок — значит, всё, кранты, казнить. А у этого что на уме?»

Ветрами продублённое лицо флибустьера, отмеченное шрамами на лбу, на скуле, Скороходу показало железной маской — никаких эмоций. И это заставляло Скорохода нервничать, комкать слова. — Я понимаю... я прекрасно понимаю... — он хотел Прибылого назвать по имени-отчеству, но от волнения вспомнить не мог. — Я понимаю, что... но это, но...

— Ты ещё не запряг! — перебил флибустьер, бросая недоуток.

Облизнув пересохшие губы, Скороход решил уйти от щекотливой темы разговора.

— А что там у вас? — кивнул на пароход. — Что приключилось?

Флибустьер поиграл желваками.

— Три часа назад нарвались... — он сердито сплюнул, стараясь попасть в окурок, под ногами дымящийся, но не попал — затоптал башмаком. — Помощник был на вахте. Молодой, неопытный, вот и напортил. А там река такая, что не зевай. Там в тысяча девятьсот девятом году затонул пароход, и на этом месте всегда играют взмыры.

— А это что за звери?

— Бугры водяные вспухают, там всегда подлянка может быть, — капитан снова поправил фуражку и снова оглянулся на пароход. — Земляк! Ну что мне прикажешь делать с тобой? Ты для меня как этот... как чемодан без ручки — и нести нельзя, и жалко бросить.

И тут на Скорохода словно озарение снизошло — вспомнил имя-отчество.

— Парамон... дорогой... — пальцы его пуговку поймали на капитанском кителе. — Пароходыч... ты пойми...

— Тихо! Успокойся! — в зеленоватых глазах Прибылого сверкнуло что-то волчьё, злобное, он в эту минуту будто ненавидел Скорохода, а может, себя ненавидел за то, что не мог пойти против совести — нужно было отвернуться и уйти, а он не мог. — Давай-ка мы сделаем вот что, — капитан любил рубить с плеча, да и просто некогда муржиться. — Короче, я сейчас на «Ермаке» объявлю аврал, всю команду в трюм загоню, чтобы течь поскорей устраняли, а ты... тебе нужно будет по-быстрому проникнуть на борт. В каюте у меня перекантуешься. — Вот спасибо, Пароходыч! Век не забуду! — поклялся бедолага-беглец и неожиданно кланяться стал на манер китайского болванчика.

— Перестань! — флибустьер поморщился — шрам на скуле поехал в сторону волчьего глаза. — Думаешь, зачем я тут якорь бросил? Или почему я, например, не удивился, не опупел, когда тебя увидел?

— И правда, Парамон. А почему?

— Да я тебя, сукина сына, в бинокль заметил, — в руках капитана блеснули стёкла Цейса. — Вот,

с собою пришлось прихватить, чтобы никто на мостике не взял, не увидел же нас.

Оказавшись тайком на борту парохода, Асиян блаженствовал в каюте капитана — тепло и сытно. Правда, на палубу выйти нельзя, но это терпимо.

В каюте по ночам они вели такие задушевные беседы, за которые их могли бы поставить к стенке, если бы кто-то услышал и настучал куда надо.

— Ты молодец, драпануть умудрился, — похвалил однажды Прибылой и тут же к мёду прибавил дётя: — Только ты беспросветный дурак, если надеешься на справедливость этого нашего отца народов.

— Почему — дурак? Он ведь тоже был в различных сибирских ссылках, он тоже убежал, должен понять. — Где он только не был, отец уродов.

— Почему — уродов?

— А кто мы? Если бы мы уродами не были, мы бы не терпели столько лет, — мрачней, капитан продолжил: — Он и тут, в Заполярье, отлично отметился. В Туруханской ссылке колотился на морозах четыре года, впадая в хандру, забывал помыться, побриться, но не забывал глушить водяру.

— Да ну! Не может быть! Откуда знаешь?

— За что купил, за то и продаю. Может, враньё, оговор. Однако похоже на правду. Туруханская ссылка — кошмар, тюрьма без замков и запоров. Да ты и сам это хлебнул. Там не только хандра одолеет. Там один какой-то ссыльный — фамилию запомнил — утопился в Енисее. Представляешь? Но это — с одной стороны. А с другой — товарищ Ленин в Туруханск прислал усатому денежные переводы. Вот какой жестокий был царизм. Как тебе ссылка такая? Неплохо, да?

— Ага. Особенно если сравнить с сегодняшним житеём-бытём на вечной мерзлоте.

— Вот-вот, и особенно если ты знаешь о похотливых похождениях усатого. Он девчонку, сироту четырнадцати лет, обрюхатил в Курейке. Хорошенькая ссылка, да? Мне бы такую, — флибустьер поморщился и пристукнул кулаком по столику. — Тыфу ты! Что только не лезет в башку, когда хватану рюмку лишнюю. А ты, земляк, не пьешь, так хоть закусьвай, — он пододвинул тарелку. — Бери, не стесняйся.

— Так она же того... — Скороход скоротился. — Она с душком. Разве не чувствуешь?

Раскрасневшийся флибустьер, запрокинув голову, захохотал — шрам под горлом открылся.

— Чудак! — он широкой ладонью пришлёпнул по спине Скорохода. — Это же омуль, байкальский омуль. Есть ещё и енисейский. Ты, наверно, знаешь. Но это — байкальский. Ребята с Ангары мне удружили. Мы с ними частенько встречаемся там, где Ангара впадает в Енисей. Угощают. Уверяют, что только они могут готовить правильного омуля с душком. Квасной патриотизм, но вкусно. Рекомендую. Не хочешь? Ну, как хочешь. Ладно,

хватит пировать. Пойду проверю вахтенных, а ты, земля, можешь спать, имеешь право.

«Так-то оно так,—размышлял Скороход в одиночестве,—только не спишься. Всё время точно иглолка под сердцем. Как будто из этой игольницы...»

Опять и опять вспоминал он тунгуску, женщину, первую в жизни своей, самую сладкую. «Запала в душу, ё-моё, глубоко запала».

Тайком на пароходе удалось пройти не так-то много, вопреки тому, что Скороход губу раскатал, размечтался добраться аж до Красноярска.

Лафа закончилась, когда сухопарая седая поварица, глазастая ведьма, случайно увидела Скорохода. Поварица, кокша, еду приносила капитану в каюту. Не всегда, но бывало такое, когда Прибылой за делами, бесконечными заботами так замотается, что забудет про всё на свете, в том числе и про еду.

Кокша эта—бывшая зэчка, оттянула свой положенный срок, но осталась на Енисее, как это случилось со многими, лагерей хлебнувшими: некуда ехать и неохота. Кокша—тётка тёртая. Смолит самосад, трёхдневными запоями страдает иногда. Взгляд до звона выстывший. Руки клешневатые, пальцы без ногтей—раздавило на лесоповалах.

В общем, эта кокша—тётка «правильная». — Она никому не станет болтать, тут я уверен. Но я не могу рисковать,—капитан руку к сердцу прижал.—Если кокша увидела чужака на борту и промолчала, то где гарантия, что кто-то другой увидит и не наступит? Нет такой гарантии—команда разномастная.

Глава 8

Тихий лунный вечер нежно, тонко высветлял роскошное пространство Енисея—берега широкие, высокие. Серебром луняным припорошило окрестные дома, луга, предгорья.

В такие вечера только стихи писать да песни, серенады под гитару или гармошку в кустах сирени под окном зазнобы своей петь. А ему, каторжанцу несчастному, впору завывать. Тоска сдавила сердце, душу острыми когтями закогтила, когда Асиян провожал пароход.

Минутами назад «Ермак» причалил к одному из небольших сибирских поселений—десятка три домов припали к Енисею попить воды. Чернозёмные заплатки огородов белыми нитками—берёзовыми пряжами—пришиты к берегу.

«Ермак» пришвартовался вроде как по своей, паровой, необходимости, а на самом-то деле—тишком, тайком избавиться от Скорохода.

Перед расставанием капитан придел своего земляка. Теперь на нём сидела добротная обновка моряка-речника. Под лунной бушлат сиял всполохами пуговиц, фуражка поблёскивала козырьком. В руке—поклажа с харчами на первое время. А в нагрудном кармане—и это главное—казённая

бумага с печатью. Флибустьер откуда-то из загашника достал эту казённую бумагу, вписал туда фамилию Скорохода, имя-отчество и год рождения. Справочка сомнительная, рассчитанная прежде всего на тех людей, которых в ту пору в Стране Советов называли «негр»—сокращение от слова «неграмотный». А если бумага окажется в руках грамотея—подделку может заподозрить. И всё же это лучше, чем ничего.

Пароход, удаляясь, под лунной превращался в белоснежного лебедя—с каждой минутой уменьшался, таял, а затем и вовсе пропал за поворотом, за тёмно-синим кривуном Енисея.

«Ну и что теперь? Куда?—уныло соображал Скороход, оглядывая сумерки, лишь кое-где слабо золотящиеся окнами.—Сейчас бы куда-нибудь в баньку или в амбар забуриться на ночь».

Собаки, издали почуяв приближение чужака, разлаялись—эхо полетела над водой, рассобачилось на дальнем берегу.

Пришлось отойти от поселения. Посидел, погрузил на берегу, на перевёрнутой лодке, и решил повеселиться, то есть пожрать, как юморили мрачные строители великой Трансполярной магистрали.

В поклаже с едой оказались: сухари, сухая рыба, околок жареного мяса, подорожники—ещё тёпленькие пироги в дорогу, пол-литровая банка икры.

«Во как развернулся капитан, расщедрился, только поскорее бы спровадить, сбагрить!—Асиян нахмурился, не ожидая от себя такого свинства.—Пригрели тебя, вахлака, прикормили, а ты выдрючиваешься,—омуля с душком, теперь показался ему не таким противным, как тогда, в капитанской каюте.—А то ли ещё будет на безрыбье да на бесхлебье!»—иезуитским образом утешил себя Скороход, нагнуллся и попил из Енисея, куда в ту минуту вливалось молоко поднебесное: на противоположном берегу из-под застрехи облака прорезался молодой, синеватой сталью сверкающий месяцок.

Вытирая губы грубым рукавом, Асиян прошептал:

— Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Что за идиотская считалка? Детская. Надо же. Будто считалка блатарей и фраеров.

Глава 9

Эта чудоёвина именовалась так, что язык можно вывихнуть,—двудечная конструкция плавающей крыши. Архитектор на заполярной стройке просветил. А если по-простому—дебаркадер. Железобетонная штукovina с деревянной, покосившейся от времени надстройкой, детище годов тридцатых или сороковых.

Скороход заночевал на дебаркадере, на верхотуре небольшой надстройки. Для этого ему понадобились кое-какие навыки, полученные в местах заключения,—открыл замок при помощи

иглоки, которые хранились в игольнице, тунгуской подаренной.

Ночевать пришлось вполглаза—опасался, как бы не продрохнуть, когда придёт хозяин дебаркадера. Но беспокойство насчёт хозяина—это ещё не всё объяснение плохого сна. Иголка—вот что беспокоило. Смешно сказать, но Скороход, покидая жёсткую лавку, два раза открывал игольницу и под луной иголки пересчитывал—все были на месте, он помнил, сколько штук. Но одна какая-то загадочная штука будто засела под сердцем—колола, томила.

Украдкой выйдя в синие предутренние сумерки, он сладко потянулся, похрустывая костями и сухожилиями. Туман от Енисея поднимался, светло-серыми платками повязывал кусты, деревья. Двигаясь по берегу, шебарша сапогами, он чайку вспугнул—дремала на бревне, лежащем возле уреза воды.

Провожая чайку взглядом, Скороход заметил: «Бургомистры линяют. Ё-моё, как быстрёхонько лето на закат покатилося,—он передёрнул плечами.—Это сколько ж мы проплыли вверх по течению? Сто километров? Двести? Плыли к югу, а север вдогонку за мной».

Уже дебаркадер из виду пропал и последние избы исчезли за горбушкой лесистого берега, когда Скороход обнаружил моторку. Стояла, как лошадь, вожжами привязанная к береговому осокору, могучему тополю, потемневшему от времени, похожему на дуб.

У Скорохода шальная мыслишка мелькнула: угнать, уворовать. Бог не фраер, простит, как говорили блатные. Да только вот он не блатной и совесть, ё-моё, не отморозил в Заполярье, в ледяном Зазеркалье, как называл его один завязтый бывший театрал в барке стройки 503.

Не желая угнать моторку—тем более что он увидел рыбака,—Скороход решил действовать по-другому. Спокойно подошёл, непринуждённо заговорил:

— Здорово, дед. Рыбачишь?

Сначала был глубокий вздох, затем ответ:

— Рыба в реке—не в руке.

Дед лукавил: в лодке трепыхалась пара солидных стерлядок, ещё живых, губительно работающих жабрами.

— Скромничаешь, дедушка? Или прибедняешься?

Не сразу повернувшись, дед подслеповато стал разглядывать незнакомца.

— Дело к холодам, вот-вот засеверит, мил человек. А у неё, у рыбы, губа не дура, вот она и покатилося куда подальше. А это мелочь, так себе,—он рукой махнул в сторону лодки.—Вот раньше бывало... А теперь-то пустяк. И червяков полно, и морышка, и всякие блёсны блестя, а всё без толку.—Понятно. Слушай, дедуля, ты не видел «Ермака»?

Дед оказался грамотным, к тому же с чувством юмора:

— Ермака? Это который Сибирь покорял, а потом сбежал с картины Сурикова?

— Ага, он самый. Так что? Не видел?

— Нет, он тут не пробегал.

— А пароход «Ермак»?

— А-а! Вон ты про какого Ермака. А он когда тут был?

— Вчера поздно вечером.

— О-о, мил человек. Я уже отвык вечеровать. С курями ложусь, с петухами встаю. А тебе зачем «Ермак» спонадобился?

— Отстал от парохода. Ты, дедуля, может, подвезёшь? Подбросишь на моторе?

Строгая солидная форма речника произвела, как видно, хорошее впечатление—глаза у деда потеплели.

— Дак он, поди, ушлёпал уже за край земли, «Ермак» твой.

— Не мог он далеко уйти. Подвези маленечко, подкинь. Мне надо—кровь из носу. Иначе по законам нынешнего времени могут посадить. Законопатят туда, куда ворон костей не таскал.

— Таперича у нас это раз плюнуть,—дед согласно качнул головой.—У меня вот кум недавно загрел не за понюх табаку. А ты чего же, голубь? Как отстал? К бабёнке, поди, заглянул?

Асиян улыбнулся краешками губ.

— Угадал. К бабёнке, русалке одной.

— Дело молодое. Сам когда-то был такой.

— Вот видишь. Так что помоги. А я тебе за это мотор подлажу.

Дед удивлённо заморгал:

— А ты откуда знаешь, что он хромой?

— Так я ж на пароходе хожу механиком. Я—маслопуп. А у тебя, я вижу, масло вытекает. Вон, посмотри.

Рядом с лодкой на воде будто колыхалось разноцветное павлинье перо.

— Ну, тогда, считай, договорились,—дед задорно зазвякал ключами, в тряпку завернутыми.—Однава живём—как не уважить? С ветерком прокачку.

Откручивая гайки, Скороход прикидывал: «Двадцать-тридцать минут на моторе—это мне, наверно, пришлось бы два-три дня валандаться по бездорожью. Вот повезло».

Глава 10

Угрюмые утренники всё чаще по берегам хозяйничали. Северяк, или сивер, хрипловато дыша, с каждым днём серчал, ожесточался, обретая силу ветрожога. Стеклелена роса по утрам, тяжелила и навзничь роняла траву, цветок оловянною шляпкой прибывала к земле. Хрусталём холодным под кирзачами кое-где хрустели лужицы и лужи. По берегу и дальше, на полянах, опростоволошились берёзы, ивы, тополя.

Небеса, прижимаясь к земле, всё реже и реже голубоглазили: чёрно-лохматые веки туч-облаков раздвигались нехотя, лениво, сонно. Лиственное золото, разграбленное листодёрами, после дождей ржавело в низинах под берегом, золотушной трухой набивалось в карманы оврагов, кочкарников.

Стужа матерела по ночам. Левая бровь, почти до косточки ножом когда-то срезанная, замерзала сильнее всего остального лица—эта бровь неволью заставляла быть начеку, спать урывками. Да и некогда спать. Сонный—что мёртвый: верно подмечено. Надо спешить, иначе предзьме угробит однажды ночью, когда над просторами Севера страшно красивым громадным цветком зацветут и на сотни километров распустанятся позари—северное сияние, сияние Верхнего мира, как называют его те, кто верит в загробную жизнь.

Временами, когда он в тайгу углублялся в поисках подножного прокорма, до слуха доносилось звероподобное рычание какой-то техники, голоса людей, собачий лай, поросячий визг бензопилы; топоры десятками дятлов долбили деревья. «Сибулон,—догадался Скороход и ощутил под рёбрами горячий сердцёбой,—Сибирское управление лагерей особого назначения. Надо когти рвать отсюда поскорей, а то попадешь в сибулонцы...»

Земля выставляла, наждаками-ветрами жёстко вылизанная. Не сегодня-завтра перволёдок застеклит озёра, мелким ручьям хвосты прижмёт. Первые забереги на Енисее уже встречаются, течение пока что откусывает их, жуёт на перекатах, на порогах, но эти пироги скоро встанут горла поперёк. В полночном небе в тишине аж звон звенит: гранёными кусками льда над вершинами гор, над тайгой мерцают необычайно яркие созвездья—примета на мороз. В такую ночь тут запросто можно окочуриться—ляжешь под кустом и не проснёшься. Спасало Скорохода только то, что спал, даже не спал—кемарил, на земле, предварительно прогретой костром, укрытый одеялом из пихтача, из кедрача или другого зеленохвойника. Порой на пути попадалась копна или остатки прошлогоднего стога—тогда лафа: тепло и пахнет летом.

Голодный и холодный Скороход, всё больше превращаясь в тихохода, упрямо двигался в сторону юга, но север не давал ему покоя. Мелкий дождь, ещё не осмелевший до того, чтобы сделаться снегом, превращался в стеклянную крошку, больно секущую, особенно когда тебе навстречу...

Иногда он подкреплялся очередным подарком Енисея: утку в камышовых крепях добывал, на костре жаривал; выкапывал корень солодки, на морковку похожий по вкусу, и другими съедобными кореньями не брезговал—всё полезно, что в рот полезло; на перекате хариус ещё ловился—капитан «Ермака» леску дал, блесну, крючки.

Временами попадались на глаза ему «слоны сохатые»—олени, лоси. Горы мяса мимо проходили,

заставляя вздыхать, слюну глотать. А временами в студёном гулке воздухе слышался далёкий громоподобно гавкающий выстрел, зависть порожающей: «Вот бы мне ружьё, вот ё-моё. А так-то, с голыми руками, только осиновой корой полакомишься. Разблюдовка скоро будет у меня—пальчики оближешь!»

Он уходил на юг, но и там погодка уже была не мёд, не сахар. Правда, пейзажи сахарные на лугах прибрежных частенько открывались на заре—иной становился всё крепче. Жутковато делалось. Как дальше бедовать? И только одно утешало: проклятуший гнус, кровопийца ненасытный, окончил своё гнусное существование. Да если б только гнус.

Дух Енисея с каждым днём смирялся.

В тишине печальной с утречка стеклярусом позванивали ивы, полошущие красные волосы ветвей в реке туманной, хмурой, нелюдимой и почти обезрыбевшей на пороге предзьмы. Таймени, сиви, осетры, хариусы и всякое другое население реки прекратили шнырять, морды свои перестали из воды высовывать, чтобы заглотить какую-нибудь вкусную личинку. Нарядное и пёстрое народонаселение реки, теряя азарт и охотку, дремотно и вяло шевелила плавниками, залегало на дно или скатывалось вниз по течению. В камышах и прибрежной траве, опалённой утренниками, в кустах и на деревьях—опустели кошёлки гнездовой, воняющих курятником, мускусом или чем-то ещё противно-похожим. Пустыми глазницами на береговых откосах зияли норы—улетели стрижи, подстригая туманы, пропали ласточки-береговушки. Опустели норы на буграх, где ещё недавно сурки и суслики перекликались, будто беззаботно в дудочки посвистывали. И только белка, пламенея на фоне вековых изумрудов кедрача или сосен, неугомонно пурхалась, делая припасы ореха на зиму и так зазвонисто цокая, будто повторяя поговорку: запасливый нужды не знает.

Немного смущаясь поступком своим, Скороход прибрал к рукам белкины припасы, но прибрал не полностью, свой разор оправдывая тем, что эта хлопотунья всегда сооружает много ухоронок, про которые может забыть; так бывало, так будет: нераспечатанный белкин запас, а в придачу к нему запасы желны, как тут зовут кедровку,—всё это богатство со временем прорастает юными пушистыми кедрятами.

И там же, неподалёку от белки, на берегу студёного ручья, два глухаря и одна копалуха, глухарка, готовились к зиме: клевали разноцветный мелкий камешник, загружали свои жернова, способные перемолоть грубую хвою сосны, пихты и прочей таёжной гастрономии.

«Хорошо бы и мне вот так: наглотаться камней и всю зиму питаться вечнозелёной тайгой».

Лузгая орехи, у белки уворованные, он дальше топал, но и время не стояло на месте.

Шуга шумела, шуга шушукалась, шуга шершавой шубой одевать пыталась Енисей.

«Сало! — вспомнил беглец, как в Сибири называют шугу. — Сало плывёт по реке. Бери, наворачивай с хлебом. Да только где он, хлебушек? Хоть выходи на большую дорогу, грабёж затевай. Или в деревню иди, христарадничай». Но это опасно. Законопослушники или иуда какой могут выдать, тем более что были слухи о деньгах, о наградах тем, кто поможет в поимке беглого. Так что схватят его под микитки, и снова он окажется в раю — причём окажется с хорошей добавкой срока за побег и, скорее всего, без зубов, которых и так-то осталось немного. И зубами этими сейчас ох как охота пожевать чего-нибудь.

Под тёмно-русыми ветвями бровей притаившиеся ягоды глаз воспалённо горели, густо опутанные красной паутиной лопнувших сосудов — от бессонницы, от напряжения. Ясно-лазоревый взгляд, отличавшийся детской наивностью, в эти дни и ночи не только повзрослел — постарел. Глаза устало шарили по берегу, куда мастеровые мужики два или три столетия назад посадили крепкие дома, амбары, крытые корьём, приземистые бани.

А раньше-то в Сибири, вспомнил Асиан, был такой милосердный обычай: за ограду еду выставляли для всяких побродяжек, для божьих странников, и в том числе для беглых. Неужели было? Да-а, так это раньше. Много воды с той поры утекло в Енисее. Когда-то товарища Ленина законопатили в ссылку в селение Шушенское, а ссылка там похожа на курорт. В Минусинской котловине, говорят, всё равно что у Бога за пазухой. Один из каторжанцев на стройке 503 был родом оттуда, так он рассказывал: «В Минусинском уезде Енисейской губернии со середины апреля — подьём целины для посадки арбузов». Вот вам и ссылка. А теперь куда ссылают? В страну вечнозелёных помидоров, на южный берег Колымы да на солнце-пёки Магадана. Вот вам и наглядное сравнение: как было при царе и как теперь, при этом косаре, усатом кремлёвском мечтателе, который людей, как траву, всё косит и косит, скирдует и в ус не дует.

Ветерок подмолодился, посвежел, и запахло деревенскими дымками, золотистой корочкой хлеба. «Что делать? Пойти? Рискануть?»

Стоял, сомневался, вкусный воздух жевал, шея изветренными губами, коростой покрытыми. Слушал, как петухи горлопанят — будто бы зазвонистыми бритвами пластают синеватый ситец тугой патриархальной тишины. Крики, спервоначалу словно дугою выгнутые, дальше загибались ещё круче, в колесо сворачивались, в такое колесо, которое незримо катилось по округе, сбивая с пожелтой травы дробины свинцовой росы, а с деревьев стряхивая перья первых искристых инеев.

Колёса катились куда-то в тайгу, к деревне прильнувшую, за Енисей катились, затихая, точно ударяя о деревья и рассыпая спицы золотые — это солнце лучилось в прогалах тайги и в прощелинах промежду скал, стражами стоящих на противоположном берегу.

Большого труда ему стоило — не соблазниться печными запашистыми дымками, такими вкусными, что в них явственно чудилась выпечка булки, аромат пирога; шкворчала там златоглазая глазунья; оладышки, блины да картопляники мерещились; картошка жареная, капуста пареная. Господи! Чего там только нет, в этой печке русской, сложенной так складно, как слагают песню. В этой печке, жарко полыхающей, белённой не белилами, а серебром окрашенной. В пазухе этой кормилицы всегда найдётся пропитание, если вокруг да около танцует расторопная хозяйка, стряпуха-непоседа, сама из себя аппетитная, сдобная, Господом Богом будто испечённая из такого человеческого теста, которому век износу не будет в трудах и заботах о муже, о детях, о стариках-родителях, а также о своём немудрёном хозяйстве — курах, поросятах, телёнке, корове.

Каторжанец уходил от деревни с таким ощущением, точно сам себя арестовал и под конвоем погнался, — от соблазна подальше, но зато всё ближе, ближе к своей гибели.

Однако судьба улыбнулась ему.

Глава 11

Зимогорил Скороход в избушке — зимогорница, так он её стал величать. Рыбаком или охотником давно, видать, поставленная замшелая зимогорница — в аккурат на каменистом взлобке, на месте обдувном, лишённом гнуса, и одновременно красно-картинном месте. Из оконца или с крылечка — далеко и широко просматривалось, гуляя глазами — век не нагуляешься. Но всё это — лирический сироп. Главное то, что мешок с харчами приторочен к потолку — от мышей подальше. Главное, печка целёхонька, а в придачу к ней — спички, береста, беремья дров, две банки бездымного пороха. Но главнее главного — соль, в большом количестве припасённая, должно быть, для рыбзасолки.

Беглеца аж затрясло при виде соли. Да оно и понятно. Разнорыбица пресная опостылела. Противив пресный, камнем подбитый рябчик, на острие доведённый до буржуйского кушанья: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Пресные яйца диких гусей, яйца чаек — всё это уже не лезло в горло, с души воротило от приторно-пресного. Скороход даже маленько офранцузился — лягушку, болотом провонявшую, однажды поймал и поджарил. Косоротился, поедая, и приговаривал:

— Ох, ну и сладки лягушьи лапки. А ты их едал? Нет, не едал, а вот дед мой видал, как барин едал!

Короче, он преснятины всякой наелся не то что по горло—до подбородка и выше.

И вот подарок—четыре белых упаковки с зеленоватой надписью: «Пищевая поваренная соль». Кроме того, имелась каменная соль—для солонцов охотник приготовил. Да если бы этот несчастный беглец в избушке обнаружил полпуда рассыпного золота, он бы меньше обрадовался. Золото—что? На зуб не положишь, если не считать вставные зубья. А вот соль, ребята, это такое богатство, перед которым корону снимут и цари, и короли. И неспроста, конечно, в средневековые соль на Руси ходила вместо денег. В общем, зимовье это, солью богатое, Скороходу показалось чуть ли не раем.

Но волна восторга вскоре от сердца отхлынула, уступая место приливом нарастающей тревоги.

Непрошенный гость, квартирант, он каждую минуту ждал хозяина. Прислушивался к ветру, веткой шебаршащему по крыше. Вздрагивал и просыпался от мышинного писка или от филина, дурноматом кричавшего едва не под оконцем, похожим на амбразуру—это чтобы медведь не забрался.

Ворочаясь на нарах, смолисто пахнущих от пихтача, для мягкости постеленного, Скороход бессонными глазами ловил далёкую искрящуюся звёздочку за окном, задерживал дыхание, прислушиваясь. Думал и гадал: что может приключиться при встрече с хозяином? Раздор? Непонимание и драка? Может, смертоубийство? А может, хозяин окажется нормальным мужиком или таким человеком, у которого брат или сват на Беломорканале погибает или на мерзлотах Заполярья?

Время шло, тайгу обшито молодыми иньями, а затем тайга опервоснежилась, ярко покраснела задорными щеками калины, рябины—росли в нескольких шагах от зимогорницы. Морозными рисунками—будто бы алмазом по стеклу—исполосовало оконце. Там и тут заметной стала шахтара—зимний след белки или куницы, по деревьям скачущей, сучья на снег роняющей. День уже не поднимался в полный рост—горбатился, короче становился. Зато ночная темень, зачастую беззвёздная, воронными крылами всё шире и всё гуще раскрылялась. А хозяин на пороге так и не показывался. Что-то, наверно, с мужиком стряслось. Тайга—не шутка, зверья полно, а зимний голод зверя делает бесстрашным, да ещё к тому же буреломы, ветровальник, непролазные шараги, предательские ямы, снегом занесённые, берложина, в которую можно провалиться.

Постоялец, понемногу успокаиваясь, начал на долгую зиму налаживаться. Нашёл пилу, ушаркал сухостоины—десяток заготовленных бревнин, взгромоздившихся неподалёку от зимогорницы. Подладил расшатавшийся топор и за милую душу расхряпал студёные чурки, звоном звенящие,

и тут нельзя было не вспомнить про «колокольник»—именно так топор называл один сибиряк, с которой судьба Скорохода свела на заполярной стройке.

Этот «колокольник» тихонечко позванивал под ухом даже тогда, когда все чурки были расколоты.—Стахановец!—оглядывая курган поленьев, сам себя превознёс Скороход.—Вот это наломал я дров! Ну прямо как этот... как Тунгусский метеорит... Красота. Теперь не грех и обопнуться, как сказал когда-то сибиряк на стройке. Отдохнуть, короче.

Вечерами, когда сатанела погода, так пурговала, будто корчевала окрестную тайгу, и небезопасно за двери высунуться, он «шрёпотом» ходил по зимовью—шептуны хозяина разношивал; обувка мягонькая, обувка лёгонькая. И поневоле тунгуска приходила на память: примерно в таких шептунах она провожала его.

А ещё вспоминался один заключённый, которого прозвали Сын сапожника. Посмотрев на свои сапоги, за печкой стоящие, Скороход вспомнил присказку того сапожника: «Ваши ноги будут улыбаться!»

У Скорохода ноги необычные, разлапистые, не всякая обувка подойдёт, и поэтому сапоги для него—за пайку хлеба и пачку чая—замастырил Сын сапожника. Хотя вообще-то он был архитектором, а по совместительству работал японским шпионом, как сам он невесело шутил. Приговорённый к смертной казни, он был помилован и по этапу отправлен на Крайний Север, где поначалу зубами скрипел: «Лучше б меня расстреляли!» Но вскоре он освоил ремесло сапожника, и жизнь-бытьё самым странным образом наладилось. И помог ему в этом один из начальников строительства Трансполярной магистрали. Бывший начальник, нужно заметить, за казнокрадство поставленный к стенке. Но тогда он был ещё начальником не бывшим—настоящим.

Звонкую фамилия носил он—Золотарь. А прозвали его—Золотырь. Почему? Тут и объяснять не надо. Кто-то золото роет в горах, кто-то золото роет в зубах—такая про него ходила присказка. Может, брехня? Напраслина? Кто его знает? Только жил он как бог на Севере, ни в чём себе не отказывал. На казённых харчах раздобыл, распузатил. Дорогой табачок, золотой мундштучок, золотой портсигар с тиснением на крышке облика вождя народов. У него имелся даже свой гарем, где он красовался в бархатном халате, расшитом золотыми фазанами. Люди посвящённые рассказывали: столько было золота в пасти у него, что когда он хохотал впотьмах полярной ночи, вокруг становилось светлее. А хохотал он часто, весёлый человек. И вдруг он загрустил однажды. Обессапожел—будто обезножел. Поставил обутки сушиться и не доглядел, сапоги скукожились.

Пришлось прибегнуть к помощи сапожника-зэка — не босиком же форсить по Крайнему Северу? Приказано — сделано. Да как было сделано, братцы!

В назначенный срок сапожник притащил ему такие сапоги, которые даже немного мычали, настолько изящная, нежная кожа молодого телёнка на сапогах красовалась. Золотырь примерил, топнул, хмыкнул: «Хороши, заразы! Ещё сюда бы шпроты, — так называл он шпоры, — вот была бы красота. Как думаешь?» — «Шпроты? — зэк на несколько мгновений растерялся, но соображаловка сработала. — А-а! Ну, шпроты, гражданин начальник, это не проблема». — «Правильно. Проблема в нашей непролазной грязи». Собираясь закурить, гражданин начальник золотой мундштук достал и внезапно сурово спросил: «Где ты, подлец, так насобачился точить сапоги?» Заключённый встал по стойке «смирно» и доложил смиренным, покорным голосом: «Так я ведь сын сапожника, гражданин начальник. Отец мой работал под лозунгом: „Ваши ноги будут улыбаться!“ Ну, вот и я стараюсь». А разговор, между прочим, происходил в богатом казённом кабинете, где на стене, на самом видном месте, висела золотом сиявшая икона современности — портрет вождя, сына сапожника.

В общем, на другой же день этому зэку выделили тёплую каморку и дали наилучший инструмент, а в придачу — две пайки хлеба и четыре упаковки чая. Немало удивлённый сын сапожника не сразу понял, в чём тут дело, и только поздней раскумекал. Подолгу сидя за работой, способствующей всякому раздумью, он вспомнил, когда и почему его помиловали. Это, конечно, могло быть совпадением, да только вряд ли. На допросе тогда он сказал, что является сыном сапожника. Сказал и не заметил, как эти сволочи, которые кровожадно допрашивали, вдруг «присели на задние лапы», как говорят благные. Допрос был прекращён, сволочи удалились, и через какое-то время архитектору, а по совместительству японскому шпиону, зачитали приказ о смертной казни, которую заменили помилованием и отправкой на Крайний Север. Что это было? Как понять? На подсознательном уровне фраза «сын сапожника» производила какое-то магическое действие? Так, что ли? Сын сапожника воспринимался, может быть, как дальний родственник вождя? Или как это можно понять?

Продолжая исследовать зимогорницу, Скороход подумал: «Не знаю, каким он был архитектором, этот сын сапожника, а вот ноги мои улыбаются — факт. Сапоги-скороходы получились удобные, прочные, только на лодыжках до белёсых пятнышек истёрлись. Ну, такая уж походка у меня: нога с ногой целуются, когда тороплюсь».

Ножницы попались под руку, и Скороход сам себя подстриг — перед осколком небольшого треснувшего зеркала обкорнал, где только можно достать.

«Голова стала легче, соображать стало проще! — усмехнулся, глядя на отражение и всё ещё удивляясь своей седине. — Так странно получается: башка седея, а бородища — смольё смольём. Как будто парик нацепил — то ли на голову, то ли на бороду. А сколько морщин налепилось на морду, которая когда-то была лицом!»

Метель-самопряха за стенами опять закрутила своё веретено, с протяжным посвистом потянула длинную кудель — сутки напролёт может куделить. И в этой белопенной заварухе за окном, в тепле зимогорницы Скороходу было как-то очень спокойно, уютно, умиротворённо. Он ничего и никого не боялся. Зиму он тут как-нибудь перебудует, не загнётся. Продукты есть, а кончатся — можно хлебать мурцовку, тунгуской даденую: кусочек медвежьего жира, в сухарях извальянного, бросай в кипяток, разболтай — и вот тебе и завтрак, и обед, и ужин. Питательная штука. Тунгуска всё же мудрая. Тундровики и таёжники — ребята ушлые. Правда, капитан на «Ермаке» говорил, что есть мурцовка флотская, ещё в царской России известная. Где он сейчас, тот «Ермак»? Зимует где-нибудь в затоне, ориентируется.

От нечего делать Скороход снова взялся изучать, обследовать избушку. И не зря. Под нарами открылся неглубокий погребок, ершистый от инея, заполненный консервами, а кроме того, подфартило — три бутылки медовухи обнаружил. И там же, под нарами, находился ящик со свечами в таком количестве, что их можно палить и палить до самого второго пришествия Христа. А за печкой, крепко сбитой из дикого камня, притаились ящичек другой — книги, газеты, тетради, карандаши.

Бывший сельский учитель, он к тетрадкам таким питал особую любовь и нежность — десятками, если не сотнями, когда-то проверял подобные тетрадки, каракулями школьников исписанные, а в каракуле том, как блохи, ошибки, описки. Но тетрадки, обнаруженные в ящике, оказались чистыми. И тогда — обзывая себя бумагомарателем, бумаговрателем — Скороход впервые попробовал писать, чтобы не тосковать в пору зимних длинных вечеров, скулящих вьюгами. Он писал простым карандашом, грифелем, и при этом почему-то вспоминал, что графит, копеечная штука, при высоких температурах и высоком давлении может превратиться в дорожной алмаз.

Писанину свою — через годы, через расстояния — Асиян Кирьянович никогда и никому не показывал, потому как однажды Чехов ему прямо так и сказал: «Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто пишет и не умеет скрывать этого». Но Чехов не скоро на пути Скорохода окажется в славном городе Красного Яра. Ему, Скороходу, ещё придётся многое и многих пережить. А пока он сидит в зимогоренке, что-то строит в тетрадке.

Иногда, внезапно замирая над писаниной, Скороход болезненно морщился, рукой под сердцем шарил — там как-то странно покалывало, как будто иглолка.

Не скоро, но всё же появилась догадка: обыкновенная с виду игольница, тунгуской подаренная, — штука совсем не простая: иголки, лежащие там, странным образом сердце то и дело покалывали, не давая забыть про тунгуску. Черноглазая, чернокосяя Алка-русалка всё чаще приплывала к нему — поначалу во сне, а затем наяву примерещилась. У него прихватывало горло от воспоминаний о тунгуске. И всё чаще, всё твёрже он думал: надо ехать, искать, вылавливать надо русалку, да, может, теперь не одну, а с дитём.

Часть вторая

.....

Глава 1

Судьба Страны Советов круто изменилась после кончины старого кремлёвского мечтателя. Трансполярную магистраль «заморозили» — самое дурацкое словцо, какое только можно придумать по отношению к стройке, покинутой на вечной мерзлоте.

Страна, будто проснувшись от жутких сновидений, заклокотала благородным гневом — везде и всюду только то и делали, что культ вождя развенчивали. Оно, конечно, так, тут спору нет, соглашался Скороход, почему-то не испытывая радости оттого, что он с недавних пор подчистую реабилитирован. Мало того, вместо радости в душе заартачилось тихое чувство протеста — появилось что-то неприятное, связанное с теми смельчаками, каких внезапно оказалось довольно много: походя плевали, походя пинали, забывая или не зная о том, что пинать мёртвого льва — это достойно смелости шакалов.

Нечто подобное касалось и печально-знаменитой Трансполярной магистрали: в шумихе вокруг да около великой бывшей стройки порою создавалось ощущение, что там в руководстве были только одни стервецы.

— А что? Разве не так? — доказывал ему «братуха» по несчастью, с которым Скороход случайно встретился на Енисее. — Сволочей там было — плюнуть некуда. Вспомни хотя бы этого... как его?.. Один из начальников стройки. Скотина. Век не забуду фразу его: «Мне не нужно, чтобы вы работали, мне нужно, чтобы вы мучились!» Было это? Было. Из песни слов не выкинешь.

— Не без того, конечно, да, не без того, чего греха таить, — подтвердил Скороход. — Но рядом с этим кровожадным типом жили и работали другие, совершенно другие, удивительно яркие личности. «Братуха» по несчастью выпучил глаза:

— Неужели? Это где? Это кто?

— Да взять хотя бы, к примеру, начальника Северного управления железнодорожного строительства и лагерей. Помнишь, нет? Полковник Василий Арсентьевич Барабанов. Человек чести, можно сказать. Человек легендарный на Крайнем Севере. Ни один заключённый не скажет про него худого слова — язык не повернётся.

— Слышал про такого, — мрачно подтвердил «братуха» по несчастью. — Дядя Вася — так его прозвали. — Ну вот! — гнул своё Скороход. — Были и другие, кто не скурвился, не отморозил душу, кто работал не за страх, а за совесть. Вот что надо помнить, чтоб не озлобиться и не хаять всех подряд, чтобы с водою да не выплеснуть ребёнка.

— Хорошо глаголешь, Асиян. Спиши слова! — сурово попросил «братуха» по несчастью. — Я вот только одно не пойму: какого хрена ты сбежал от этих ярких личностей, от людей чести? Молчишь? Там яркая сволочь сидела на сволочи и сволочью погоняла. Что? Не так?

В глубине души он был согласен с этим «братухой», но врождённое чувство упрямства и другое какое-то чувство, ему неведомое, говорили о том, что по большому счёту правда всё-таки за ним, за Скороходом.

Глава 2

Диковинное это было ощущение — полноправный гражданин Страны Советов. Непривычно как-то. «Кто на молоке обжётся — на водку дует!» — мрачновато юморил Скороход, неоднократно ловя себя на том, что ходит и оглядывается, ходит и голову в плечи втягивает. Или хуже того — ходит руки за спину и слышит за спиной: «Шаг влево, шаг вправо — попытка к побегу! Конвой стреляет без предупреждения!»

А потом ничего — отпустило. Осмелел, распрямился, прифрахерился, зубы железные вставил: «Любого теперь загрызу!» Лицо у него посветлело, и взгляд распрямился. У него даже левая бровь, до половины ножом когда-то стёсанная, начала обрастать хвоинками редких волос.

На родину свою, на Волгу-матушку, Асиян Кирьянович уезжать не спешил. Обсибирился. Хотя частенько душой рвался, думал, что надо, надо бы вернуться к родным могилам, к детству и юности.

Ему, на Волге рождённому, было как-то неудобно, даже стыдно оттого, что он без ума, без памяти влюбился в Енисей и практически забыл родные берега, родную лодку, похожую на люльку, с малолетства баюкавшую — папаня часто брал парнишку на рыбалку. Но что поделаешь? Любовь — она такая, всё побеждает. А кроме того, если честно, расклад вот какой получается: Волга — это хорошо, Волга — красота и символ, но Енисей — вот где сила, вот где мощь, вот где

характер не только сибирский—русский, преграды не знающий, горы на пути своём ломающий и в полководных разливах по-русски неумный, буйный, широченный—ни конца ни края не видать. Так думал Скороход и всё же маялся: человек без родины—соловей без песни.

Долго, нет ли мог бы он ещё страдать ложным чувством стыда перед Волгой и чувством «запретной» любви к Енисею—одному только Богу известно. От этого странного чувства раздвоенности избавился он благодаря удивительной встрече с Антоном Чеховым, тогда ещё не Павловичем, молодым, энергичным, далёким от своей чашочки, а также от многих своих рассказов, пьес.

Случилось это по весне, в тёплый майский день. Скороход женился к тому времени, Алкарусалка сына родила, сына, зачатого ещё в дальнем далеке, в тунгусском чуме: Скороход нашёл-таки стойбище тунгусов и Алку-русалку, беременную девятым месяцем, увёз «на магистраль», как говорили тунгусы.

Он тогда работал в Красноярском речном пароходстве и на неделю оказался «списанным на берег»—приболел, но поправился быстрее, чем доктор в бюллетене прописал. Вот почему Скороход слонялся по набережной, слонов продавал,—ждал своего парохода, знал, что скоро будет пришвартовка.

Погодка стояла—небесный подарок под занавес мая. Благоухала, сирень, зацветала ольха, красноталы, зелёные косы заплетали берёзы. Прилетевшие утки—крохали и чирок-свистунки—на реке гомонили. Вечерело, но солнце ещё не склонилось над хребтинами Восточного Саяна, солнце воду на стрежне конопушками засеивало, а под берегом желтели блины, как на чёрно-синих сковородках пошевеливались и только что не шкворчали. Асиян Кириянович смотрел и ухмылялся: хорошая закусь—в кармане под сердцем пригрелся пузырь недорогого красного портвейна, бормотухи, проще говоря.

Выпивать одному скучновато, да и неприлично: алкоголик он, что ли, в одиночку лакать?

И пришёл он тогда—случайно, нет ли?—на то место на берегу Енисея, где много лет спустя будет построен Коммунальный мост, а ещё позднее, в 1995 году, там поставят памятник Чехову, побывавшему в Красноярске проездом на Сахалин.

Пришёл и почему-то разволновался, да так, что вот-вот рукомоёйнйк закапает—нос, полованный в Заполярье, кровоточил, если давление подскакивало.

И увидел он на берегу стоящего какого-то молодого человека с аккуратно подстриженной чёрной бородкой, с блестящим пенсне, прилепившимся на переносье. На плече незнакомца, как выяснится позднее, висела дорожная фляжка с коньяком, а в кармане—так, на всякий случай—притаился

револьвер системы «Смит-Вессон». И чем дальше Скороход смотрел на незнакомца, тем горячее делалось под сердцем. Ему, бывшему сельскому учителю, знакомое что-то почудилось в облике этого человека, задумчивым взглядом убежавшего куда-то на противоположный берег Енисея и дальше, в будущее,—это стало ясно через минуту, когда Скороход подошёл к незнакомцу и тот, обращаясь к нему, неожиданно заговорил, точно по писаному:— Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том—горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!..

Выслушав кудрявые, чудные слова, похожие на песню, Скороход сначала обрадовался—песня ему душу врачевала, любовь к Енисею оправдала. Однако Скороход тут же нахмурился.

— Мы всё в будущее, в будущее целимся, ё-моё,—заворчал он,—всё попадаем пальцем в небеса.

Человек с аккуратной чёрной бородкой флягу на плече поправил. Ладонью провёл по широкому лбу, где наметились глубокие продольные морщины.— А что? В чём дело?—вежливо спросил.

Скороход загорячился:

— Да в том, что если бы ты... ну, то есть вы, дорогой наш Антон Палыч... Я не ошибаюсь, нет?

— Не ошибаетесь,—подтвердил молодой человек, поправляя пенсне, стекляшки которого огненно сверкнули, отражая солнце.— Так в чём же дело? С чем вы не согласны?

Скрипнув зубами, Скороход поморщился.

— Ох, если бы вы, Антон Палыч... кабы вы знали, какая житуха тут будет... особенно вниз по течению...

Антон Палыч снял пенсне, протёр.

— Неужели всё так плохо?

— Не всё, но многое.

— А если поточнее? Поподробнее?

— Поточней да поподробнее, Антон Палыч, надо целый роман городить. А вы, я помню, говорили насчёт краткости, которая сестра таланту. Не так ли?

— Так, да не совсем.

— А что не так?

— Это было сказано задолго до меня.

— Вот те раз! И кто же это сказанул? Кто поперёд бабки в пекло прыгнул?

— Эта фраза: «Краткость—сестра таланта»,—встречается в «Гамлете». В пьесе Шекспира. Но есть и такие исследователи, которые предполагают, что эта фраза могла быть известна и до Шекспира.

— Чудны дела Твои, Господи. А я-то думал—Чехов. Сказано-то хорошо.

— Хорошо, да не совсем. Сестра—это всего лишь родственница таланта, а не сам талант,—Чехов пригладил усы.— А вы, значит, из будущего? Я правильно понял?

Тяжело вздыхая, Скороход признался:
— Из него.

— А почему так уныло?

— А чему тут радоваться?

— Что? Совершенно нечему?

— Нет, конечно, есть чему, да только это... Причины и поводов для печали—куда как больше.

— Например? Что молчите?

— Ну вот, например, я недавно считался врагом народа и только случайно оказался в живых, потому что в побег пустился.

— В побег? Это интересно. И откуда, если не секрет?

— Да теперь-то уже рассекретили.

— Тогда расскажите, сделайте милость.

Собираясь что-то сокровенное поведать, Асиян Кирьянович сделал шаг навстречу собеседнику, посмотрел ему в глаза и растерялся. Замер. Глаза оказались у Чехова разного цвета, глаза-хамелеоны, один голубого, другой карего цвета, причём один был дальновзоркий, а второй близорукий, и называлось это астигматизм—причина диких болей головных. «Вот интересно,—мелькнуло в голове Скорохода,—знал ли Булгаков о разноцветных чеховских глазах, когда сочинял своего сатанинского Воланда: „Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный“?»

Стараясь не глядеть в глаза писателю, Асиян Кирьянович спросил:

— Вы тут надолго?

— Нет, я проездом на Сахалин.

— Ответ неверный!—машинально брякнул Скороход.

Пенсне у Чехова едва не выпало из переносицы.

— Неверный? То есть как это?

— А так, что вам бы надо поехать в Заполярье, в ледяное Зазеркалье. Хотя...—Скороход загривок почесал, что-то припомнить хотел, но не смог.— А какой у нас сегодня год? Прошу прощения.

— Тысяча восемьсот девяностый.

— О-о! Ну, тогда ещё рано. До стройки ещё далеко, так что я извиняюсь и желаю вам счастливого пути на Сахалин. Может, портвейну примете на посошок?

— Спасибо, только лучше коньяку. Вы как? Не против?

— С вами? Да хоть полведра керосину!

Чехов засмеялся и вдруг пропал—вечерний туман стогами и скирдами наплывал от реки, скрадывал кусты, деревья, острова и прибрежные избы, в которых огоньки загорались, золотистыми

длинными иглами втыкаясь в тёмно-серое сукно Енисея.

После такой неожиданной, изумительной встречи Асиян Кирьянович домой вернулся возбуждённый, взлохмаченный, глаза болезненно сверкали, нос прохудился—пятна крови на одежде. И хорошо, что Елисейка уже спал, иначе напугался бы, увидев отца.

Алка-русалка, молчаливая, покорная и нежная северянка, помогла ему разуться, раздеться, в постель уложила, под бока подтыкая тёплого верблюда—так Скороход называл старое верблюжье одеяло.

— Асиянка,—осторожно предложила она,—может, скорую вызвать?

— Нет,—он скривился.—Лучше тарантас.

— Какой тарантас?

— На котором Чехов припылил сюда,—он глубоко вдохнул и выдохнул несколько раз.—Никого не надо вызывать. Я сам как-нибудь. Я понимаю, это Заполярье...

Заполярье, ледяное Зазеркалье время от времени давало себя знать, порождая призраки, видения: Скороход уже несколько раз попадал в городскую больницу, да не в простую—психиатрическую. «Потерял колечко»,—так про него шептались, в такой вот ласкательной форме в Сибири когда-то говорили о человеке, имеющем проблему с головой.

Молчаливая Алка-русалка пошарила в ящике старого шкафа, достала матово мерцающую гильзу—упаковку таблеток, выпить заставила. Потом сидела рядом, Асиянку гладила по серебристой голове—кое-где под волосом угадывались шишки, упавшие с дерева познания добра и зла.

Глава 3

Город Красного Яра—хороший город, но всё же год за годом стал он угнетать, разрастаясь, шумя проспектами, дымя заводами, сюда из-за Урала вывезенными во время Великой Отечественной. В общем, семья Скороходовых покинула город. Жили в тихом, густо озеленённом районном центре, находящемся—естественно, а как иначе-то?—на берегу Енисея. Никакого другого места Скороход не признавал, пускай там даже громоздятся горы золота и протекают реки, полные вина, только если нету Енисея—грош цена таким местам.

Работал он в то время рыбнадзорщиком, днями, а то и ночами пропадал на реке, дома появлялся редко, заставляя тунгуску нервничать: два раза в него стреляли.

Чёрно-круглая тарелка репродуктора в доме всегда содержала в себе разнообразные угощения—что ни день, то новости. Самому Скороходу угощаться новостями некогда, а вот жена, немного обрусевшая, пристрастилась едва ли не каждое утро чёрную тарелку слушать, свежие новости кушать. И однажды она мимоходом обронила

новость: на Енисее будут строить гидростанцию. Ох, если бы знала она, что за этим последует, она бы тарелку эту вдребезги разбила, чтоб никогда не слушать.

Алка-русалка давно притерпелась к чудачествам мужа, который мог, например, кукушку из тайги принести и в часы простые, настенные часы, вроде бы как посадить, чтобы она куковала, время считала—это он сынишке сплёл сказочку такую. Но кукушку из тайги он приносил настоящую, потом на волю выпустил.

Были и другие милые чудачества у Скорохода. Но такой диковины Алка-русалка не ожидала: Асиян Кирьянович решил покончить с проклятушим рыбадзором и махнуть на строительство ГЭС.

Глаза Алки-русалки расширились.
— Да ты что? Ты мало-мало обдурел?—изумилась она и внезапно добавила мужнину присказку:— Ё-моё!

— Почему обдурел? А кто умолял меня, кто отговаривал? Забыла?

— Ой, да как же забыть, когда я по ночам не спала, тряслась мало-мало, шаманила, чтобы духи злые тебя не тронули?

Браконьеры тогда сначала хотели Скорохода запугать—не помогло, потом стреляли на поражение, но пули стороной обходили, как заговорённого,—тунгуска, видать, не напрасно шаманила. Его поджигали в таёжной избушке; моторку топором кусали, хитроумно дырявили и затыкали так, чтобы затычка не сразу, но растворилась где-нибудь посреди Енисея. И всё бесполезно—в огне не горел, в воде не тонул. Вот так она оберегала мужа. И это им обоим дорогого стоило. Молчаливая Алка-русалка так переживала за него, так всё близко к сердцу принимала, а под сердцем теплился ребёнок, и в результате случился выкидыш, и после этого детей у них уже быть не могло. И никогда ни разу она не попрекнула Асияна—это было в крови у неё, коренной северянки: не перечить мужу, не переступить через оружие, где бы он его ни бросил, усталым вернувшись домой.

Должно быть, об этом вспомнил сейчас Скороход. Второпях приблизился, обнял жену и настоящим, детским именем назвал—это бывало в минуту нежности:

— Оленок! Ты не волнуйся. Я поеду, присмотрюсь, что да как. Устроюсь, а тогда и вы подтянетесь. Там, я слышал, деньги длинные дают. А деньги нам нужны. Мне надоело в рыбадзоре мантулить за копейки, браконьеров ловить, бандюжан заклятых.
— В школу иди, мало-мало работай, ты же учитель.
— Был, да вышел весь. Гоголя от Гегеля не отличаю.
— А книжек-то вон сколько прочитал.
— Читаю, да. А как же? Не учись до старости, а учись до смерти. Есть у нас такая поговорка.

В избу Елисейка вошёл—раскраснелся на играх-забавах, рубашонку порвал.

— Во!—обрадовался Скороход, потрепав сынишку по вихрам вспотевшим, пыльным.—Погляди на него, полюбуюсь. Всё горит на нём как на огне, хоть пожарных вызывай. Надо форму к школе. Обувку новую. Да, Елисейка?

— А ещё лисапет,—напомнил мальчик,—ты обещал.

— Кого? А-а, велик? Ну, это, сынок, не проблема. Иди пока умойся да поешь, а мы тут с мамкой будем держать совет в Филях.

Опечаленно глядя на мужа, давно обелоснеженного, морщинами измятого, Алка-русалка подумала, что такой человек, жизнью битый, тёртый на всех перекатах, казалось бы, должен быть поумнее, а этот...

— Романтик мало-мало,—пробормотала,—поедет на старости лет.

Изображая обиду, он отбоярился шуткой:
— А не рано ли, мадам, вы меня списываете?

Глава 4

Старое бревенчатое здание рыбадзора—наверно, для того, чтобы легче надзирать,—находилось на прибрежном пригорке, с которого открывался вид на Енисей, по берегам обставленным березняками, соснами, а вдалеке изгибом уходящий за полугорье.

Вершилин Георгий Матвеевич, много лет бессменный начальник рыбадзора, с утра пораньше заседающий в конторе, удивился, но промолчал, прочитав заявление об увольнении.

Заявление оказалось пространное, похожее на рассказ о том, что Скороходу надоела, обрыдла житуха развесёлая такая—каждый день ходи и озирайся, жди, когда тебе в спину шарахнут жаканом, или жди, когда тебя утопят где-нибудь за островом или в протоке, и никто не узнает, где могилка твоя.

«Всё так, всё правильно. Лучше побережься, чем обжечься,—Вершилин закурил, отодвигая пространное заявление.—И всё-таки что-то не то. Может, тунгуска напела? Ночная кукушка дневную перекукует. Только никогда ведь он не был подкаблучником. Ему хоть коня ставь поперёк, всё равно пойдёт напропалую, делать будет по-своему. Так в чём же тут подвох?»

И чем дольше начальник присматривался к Асияну Кирьяновичу, тем сильнее становилось подозрение: что-то здесь не то.

Скороход всегда смотрел прямолинейно: яснолазоревый взгляд, отличавшийся детской наивностью, Вершилина порой смущал немного. А теперь, во время увольнения, Асиян Кирьянович то и дело прятал взгляд. Ясные глаза его бегали жуками, точно сбежать хотели с физиономии, дублённой ветрами енисейскими, солнцезаром, снегами. Только и это можно понять: конфузился мужик оттого, что на попятную пошёл, дрогнул. Но это вряд ли. У Скорохода раньше было время

попраздновать труса: такие дни и ночи выпадали на реке, когда он возвращался с простреленной фуражкой или вразмашку доплывал до берега, поскольку моторка пузыри пустила на стрежне Енисея.

«Вот если бы тогда он пришлѐпнул заявлением об стол...—Вершилин прокуренными пальцами раздавил папиросу в железной пепельнице.— А сейчас увольняться и ехать на строительство ГЭС—это что, это как? Романтика, мать её за ногу? Енисей собираются за горло схватить, а Скороход поедет помогать строителям? И это при всѐм при том, что он всей душой прикипел к Енисею? Хлебной коркой, говорят, каждый день подкармливает водяного какого-то. Жену свою, тунгуску, русалкой величает. Но это мелочи. А вот зачем он засобирался на стройку? Не могу догумкаться. С какого перепугу захотел он „штурмовать Енисей“, как об этом теперь балаболит радио, печатают в газетах?»

Начальник не стал кочевряжиться, заявление подписал, сердце скрепя и пѐрышком так яростно скрипя—чуть бумагу не продырявил. Жалко было Скорохода отпускать, да ещё к тому же причина увольнения какая-то странная. Ладно был бы молодой, с комсомольским задором, они, молодые, повсюду рвутся в первые ряды, но Скороход...

Вершилин терялся в догадках. А тут ещё внезапно выяснился факт пропажи одного изъётого ствола. Обычно всё оружие и все патроны, конфискованные во время задержания браконьеров, оформляются протоколом, сдаются строго под роспись. Асиян Кирьянович именно так и делал— всё по закону, по правилам. Только в правилах есть исключения. И что характерно: исключение произошло незадолго до увольнения Скорохода.

Ещё не понимая, что к чему, только томясь какой-то смутной тревогой, Георгий Матвеевич после работы решил дойти до Скорохода. Шкандыбал с нагугой—нога давно прострелена после ночной схватки на реке; картечь просквозила навывлет, рана заросла, зарубцевалась и лишь перед ненастьем давала знать. Вот и теперь, при ясном небе, при ярком вечернем солнце, соломенный пожар бросающем на реку, нога почему-то заныла.— Где он?—с порога хмуро спросил Вершилин.— Где твой мужик?

Тунгуска занималась постирушками—бельё в корыте жамкала.

— Утром уехал,—она поправила чёрную прядку, оставляя на ней белопенный пушок.— А что случилось?

— Да пока ничего.

— Дак вы проходите, чайку мало-мало...

— Нет, нет, я пойду.

Вершилин постоял у двери, стараясь меньше наступать на больную ногу, бегло, но внимательно обшарил глазами просторную горницу, что-то хотел спросить, но передумал.

Роскошное лето над сибирской стороной раскочегарилось, рассыпая разноцветье по округе, за уши вытягивая травы на покосах, выжимая золото смолья из деревьев. Енисей, как всегда в эту пору, дышал полной грудью—туманы скирдовались по утрам, дожди из пустого в порожнее переливались: река на солнцепѐках призрачно парила, понемногу в небо уходила, а потом дождями рушилась обратно. Енисей привычно, гордо, величаво шѐл своей дорогой в океан, играя разнорыбницей и на спине широкой, сильной качая лодки, баржи, пароходы, лихтеры, принимая серебряный дар как больших, так и малых притоков. Голубоглазый богатырь, привыкший быть хозяином сибирской стороны, где он родился во время оно, богатырь с душой и совестью чистой, не мог он знать и не подозревал, что ему сейчас готовят люди, ему, тому, кто из века в век поил, кормил, одевал и согревал поколение за поколением.

«Это, батюшка, тебе такая благодарность от сыновей и внуков!»—понуро думал Скороход, вознамерившийся пройти по дну, то есть по будущему дну, будущего моря-горя.

Сначала бродил он по берегу в районе посёлка Шумихи, а потом в районе Бирюсы, где находилась Бирюсинская писаница и где в эти дни и ночи трудились археологи, торопились, понимая, что под водой скоро бесследно исчезнет большинство петроглифов, краской нанесѐнных или выбитых на камне самых древнейших времѐн—от палеолита до средневековья.

Уходя всё дальше, Асиян Кирьянович попадал на улицы сѐл и деревень, готовившихся к затоплению. Смотрел и слушал, как мужики с матюгами и проклятиями разбирают долговечные крестовые дома, чтобы увезти на место новоселья. Бани и амбары, не все, но многие, раскраживали, распилили на дрова. Какие-то избы стояли наполовину раздербаненные, а какие-то сожгли, свели под корень, и над сухим пожарищем чёрные трубы кирпичными глотками побито поскуливали.

Жутковато было в этих обречѐнных сѐлах и деревнях. Петухи не базлали, не квохтали куры, не лаяли собаки, не мычали коровы, детвора не шумела на игрищах. Огороды брошены: что толку огородничать? Сенокосы брошены: что толку сенокосничать? Всѐ поникло, всё притихло, всё затаивалось как перед грозой. Даже ветер с травой и деревьями не разговаривал, не шекотал листву, не играл на скрипках проводов.

И в тайге по берегам—на десятки километров— всё вымирало. Муравьи и термиты, как это всегда бывало перед наводнением, начинали переселяться, только теперь они переселялись не на ближайшие высокие деревья, а гораздо дальше, выше. И точно так же поступали пауки—уходили туда, куда не достанет рука рукотворной

воды. Уходили мыши. Птица камышовка улетала, чтобы построить гнездо гораздо выше обыкновенного — осознала близость наводнения. Но всё это мелочи.

С насыщенного места уходила жизнь более крупная.

Змеи одними из первых шкурой беду почуяли, потекли ручейками, только не вниз, а вверх, на сухие, безопасные бугры, находящиеся далеко от прежних обжитых мест. И стрижи, и ласточки-береговушки стаями покидали береговые уютные гнёзда, где они селились год за годом, где спокойно жили не тужили их деды крылатые, прадеды. Уходили с берегов лисы, волки, белки, куницы, росомахи, медведи. Уходили как во время стихийного бедствия — никто друг на друга не скалился, и уж тем более никто друг друга не кусал. Это был исход великой жизни, веками здесь процветающей, исход не библейский, но всё же изгнание, изгнание из современного рая. Только за что? За какие грехи?

Думая об этом Асиян Кирьянович, смотрел по сторонам и вверх — пытался представить, какая многометровая толща мутной воды скоро тут накопится, поглотит мостовые, церкви, избы, кладбища, затопит чернозёмы на полях, захлестнёт травососы.

И вдруг ему почудилось далёкое какое-то, невятное песнопение, исполненное тихой, нежной грусти, поверх которой слышалось величие и неземное что-то, поднебесное, то, что называют — горнее.

Волнуясь, он пошёл навстречу звукам и увидел странную процессию, в руках которой — букетами цветов жарков — горели свечи, а над головами окладами сверкали старинные иконы, колыхались золотистые знамёна — хоругви и ещё какие-то святыни.

Это оказался огромный крестный ход, обычно совершаемый ради прославления Господа Бога, ради испрашивания милости Божьей, благодатной поддержки. Но случались и другие крестные ходы — во время засухи, во время землетрясения, во время наводнения. Вот это был как раз такой необычный крестный ход перед наводнением.

Крестный ход, состоящий в основном из людей преклонного возраста, хотя тут были и молодые, растянулся на километры. Шли, и плакали, и хором отпевали многочисленные сёла и деревни, которым судьба уготовила горькую участь — захлебнуться под рукотворными водами.

Однако были тут не только люди — звери шли крестным ходом.

Невероятность происходящего заставила Скорохода зажмуриться: может быть, исчезнет навсегда. Но когда он снова открыл глаза — медведь двухметрового роста по-прежнему шагал в конце крестного хода, тяжёлую какую-то икону в серебряном окладе нёс над головой, оставляя под

лапами глубокие когтистые рытвины. А следом за этим таёжным гигантом шёл на задних лапах серый волк, а в передних лапах он тащил древко древней какой-то хоругви. А за волком трусилы трусоватые зайцы, поминутно делавшие скидки, но снова примыкавшие к течению крестного хода.

«Если даже звери тут, — решил Скороход, — то мне сам Бог велел!»

Присоседившись к этому необычному крестному ходу, он убедился в правоте Екклесиаста: кто умножает познания, умножает скорбь.

Из обрывочных разговоров узнал он, что скоро будут затоплены сто тридцать две деревни, десятки районных центров и первые русские поселения — острог Абаканский, Караульный острог. Узнал, что затоплено будет сто двадцать тысяч километров земли, во многих местах такой плодородной, что второй подобной нигде не найти.

С молитвами и песнями шагая всё дальше и дальше, крестный ход на пути своём долгом обрастал всё новыми и новыми ходоками, среди которых можно было встретить людей серьёзных, умных, опечаленных судьбой Отечества, но порой встречались и такие, кто занимался кликушеством, говорил о вселенском потопе, о том, что, мол, пора строить новый Ноев ковчег.

В толпе разношёрстного крестного хода Асиян Кирьянович заметил бородастого большеголового старца, которого можно было бы принять за церковнослужителя, когда бы не гармошка на плече или старый баян. И что-то знакомое показалось во всём этом облике странного старца.

Скороход приблизился и похолодел, как это было тогда, в Заполярье, когда он услышал нечто подобное:

— В девятом круге Ада, — рассказывал странник, — сидел Иуда, помню как сейчас. А рядом, помню, было свободное местечко. Вот как раз туда и посадили нашего усатого. А скоро там посадят и горбатого. Там хватит места всем, кто не по совести живёт, свой народ предаёт.

Глава 6

Управление Красноярскгэсстроя он без труда отыскал в Красноярске, в гостинице «Север». Побродил неподалёку, прикидывая, как да что тут можно повернуть, и не только можно — нужно.

Многолюдный крестный ход не мог не вдохновить Асияна Кирьяновича. После крестного хода он не сомневался в своём решении — привести приговор в исполнение. И нужно это сделать поскорей, покуда сердце и душа не отгорели, не откипели гневом.

«Только не надо суетиться, заполошничать, — сам себя приструнил Скороход, — перво-наперво надо поехать в общагу, забрать инструмент».

Общежитие для гидростроителей, бывший деревянный клуб, находился на окраине города

Красного Яра, недалеко от посёлка Лалетино. Несколько дней назад Асиян Кирьянович поселился там и вскоре стал известен как Седой Романтик, человек общительный, имеющий ясно-голубые, немножечко наивные глаза. То, что Седой Романтик был человеком странным, комсомольцы заметили не сразу.

— Отец, — интересовалась молодёжь, — а каким тебя ветром сюда занесло? Или не сидится на печке?

— Сиди на печи и грызи кирпичи? — он усмехался. — Вы прямо как жена моя, списать готовы, сдать в утиль. А я ещё, ребята, хоть куда, и мне ещё охота, как другу моему, задрать штаны, бежать за комсомолом.

— Другу? — уточнил кто-то начитанный. — Сергей Есенин — ваш друг?

— Ну не твой же. Ты ещё молодой, а я на вечной мерзлоте видел мамонтов.

— Живых?

— А то! Мёртвых и дурак увидит где-нибудь в музее.

Комсомольцы, пряча улыбки, переглядывались.

Так начинали открываться странности Седого Романтика. И чем дальше — тем больше.

Под вечер однажды работяги в общаге за карты хотели засесть. Он молча подошёл, вырвал колоду у раздающего и выбросил в открытое окно — там словно стая голубей захлопотала крыльями и стихла.

Комсомольцы припухли от неожиданности. И потому голос Скорохода показался особенно грозным, непререкаемым:

— Чтобы я этого больше не видел!

— Это ещё почему? — не сразу откликнулся тот, кто карты хотел раздавать.

Скороход промолчал. Поцарапал левую бровь, ножом когда-то срезанную, а теперь почти завололатевшую. Он мог бы рассказать, как в Заполярье, в ледяном Зазеркалье человека в бараке проиграли в карты. Но тогда рассказывать пришлось бы и о том, как да почему он оказался «врагом народа», и многое другое пришлось бы растарабаривать, а это ни к чему.

— Вы же комсомольцы, помощники партии, — неожиданно стал он давить на педаль патриотизма. — Или вы эки несчастные? Играть вам охота? Детство в задку не отыграло? Так давайте в шахматы, в Чапаева сразимся.

Был ещё и такой удивительный случай на кухне, где комсомольцы жарили рыбу, варили уху. Асиян Кирьянович, глядя на рыбьи хвосты и головы, торчащие из огромной посуды, заявил:

— Осетры у нас теперь ненастоящие!

Краснощёкий повар хмыкнул, проверяя уху на соль.

— Ненстоящие? — спросил с подковыркой. — А какие они?

— Поддельные какие-то.

Глазёнки у повара будто маслом подсолнечным брызнули — озорство заискрилось.

— Интересно. А как отличить?

— Да очень просто. При настоящем царе-осетре должна быть корона. Старики мне говорили. Да и сам я видел. Выловишь царя такого — и сразу надо его, стало быть, раскороновать, а иначе беда. — А почему беда?

— На царя негоже руку поднимать. А когда раскоронуешь, он уже не царь, тут не грех и потрошить, икру из брюха выгребать. Старики говорили, лопатой иногда приходилось орудовать, столько было икры, пудами таскали и вёдрами. А теперь? Что будет, когда Енисей плотиной придушите?

Молодые строители, а их немало к тому времени на кухне подсобралось, ошалело смотрели на Скорохода.

— А зачем же ты, отец... зачем душить приехал?

— Да так, за компанию. Вы разве не знаете: за компанию и жид удавился, и монах женился. Да и вы, как погляжу, все тут за компанию встали под знамёна какого-то Ислама. Вы же православные. Хотя какие, к чёрту, вы... нет на вас креста. Христопродавцы.

— Ислам? Какого ислама? — не сразу поняли комсомольцы. — А-а! Ислам-заде! Ислам Ахметович Джафаров? Начальник строительства?

— Да-да, он самый, тот, который вас толкает на трудовые подлости... ну, то есть подвиги. Вы хоть понимаете, куда вы лезете? Романтики, в рот пароход! — Асиян Кирьянович глазами чиркал как будто спичками — каждый взгляд озарялся огнём. — Вы понимаете, что будет после вас? Да ни черта вы не понимаете! Вам бы только песни поорать, на гитарах позвякать, с бабёнками затеять шуры-муры. Для вас, как недавно узнал я, штук двести красивых невест, специально отобранных, породистых, скоро привезут откуда-то из Горьковской области. Это чтобы вы не разбежались. Чтобы плодились и размножались.

— А ты? Не плодишься, не размножаешься? — поинтересовался крупногабаритный бригадир бетонщиков.

Тут Скороход маленько смутился. Вспомнил чум далёкий, очумелость от первой любви.

— Я размножаюсь, но не для того, чтобы гробить реки, земли.

— Значит, размножаловка у тебя хорошая. Может, покажешь?

На кухне грохнул хохот — в окне задрожала стеклина.

Бригадир бетонщиков Иван Захарович — мужик закалённый, а потому и прозвище имел — Закалович. Не ладно скроен, да крепко сшит — эта поговорка будто о нём придумана. Человек добродушный, как все здоровяки, хороший семьянин и весельчак, душа компании, бригадир бетонщиков

Скороходу почему-то сразу не понравился. «Браконьерская морда! — определил Скороход. — Весёлому этому дьяволу лишь бы поскорей угробить Енисей и дальше идти, душить другие реки на Руси!»

Стакан с вином, зажатый в трудолюбивой лапе бригадира, был почти не виден — такая здоровенная.

— Стране позарез нужно электричество для заводов и фабрик, — благодушным голосом учителя объяснял он Скороходу-ученику. — Прогресс идёт, его не остановишь. Хватит сидеть при лучине.

Минутами раньше Иван Закалович со смехом рассказывал, как он в армии, в десанте, головоу кирпичи ломал. Вот почему он Скорохода не только раздражал — бесил своим снисходительным тоном учителя.

— Ты хоть «Каштанку» читал? «Мойдодыр» конспектировал? — загорячился Скороход. — У тебя же на плечах не голова — бетономешалка. Тебе бы только поскорее план пятилетки выполнить. А что потом? Хоть волк траву не ешь? Вы сколько сёл и деревень затопите? А сколько чернозёма захлебнётся? Сколько покосов? Грамотеи клятые! Стыд и срам, что пишете вы на этих глыбах, которыми готовите угробить Енисей: «Мы тебя покорим! Победим!» Грамотеи!

Аппетитно и шумно отхлебнув из стакана, Иван Закалович неприятно-сырыми губами спросил: — А что надо писать, по-твоему?

— Прощения надо просить. Надо писать: извини, мол, нас, батюшка-Енисей, сами ведать не ведаем, что вытворяем.

— Забавно, — бригадир откровенно, широко рот зевнул и, покачав головой, матюгнулся. — Гляжу на тебя и понять не могу: ты с какого бодуна сюда приехал? Зачем?

— Приехал — тебя не спросил.

— Нет, браток, так дело не пойдёт, — Иван Закалович допил вино и стаканом пристукнул об стол, так пристукнул, что гранёное стекло покрылось паутинами трещин. — Собирай манатки и проваливай. Я повторять не буду. Ну что ты стоишь, улыбаешься? Я могу тебе расквасить улыбальник.

«Спокойно! — сам себе приказал Скороход, готовый разъерепениться. — Если идёшь охотиться на волка, не отвлекайся на зайца!»

Играя желваками, он сунул кулаки в карманы и ушёл, ногою растабарив кухонную дверь.

Глава 7

Досконально изучив распорядок начальника строительства, Скороход сначала хотел его взять на «гоп-стоп», подкараулить где-нибудь на серпантине горной дороги, крутящейся от Красноярска до стройки будущей ГЭС. Но если тормозить машину, персональную «Волгу», водителя тоже придётся пускать в расход, а это не входило в планы

Скорохода. И тогда он умудрился проникнуть в гостиницу «Север», где начальник строительства занимал отдельный номер — большие барские апартаменты.

В руке у Скорохода был скромный саквояж, в котором притаился «кулацкий» обрез — дувольная крупнокалиберная лупара, начинённая пулями на серьёзного зверя. Будучи на службе в рыбнадзоре и занимаясь охотоведством, Асиян Кирьянович много всяких стволов отобрал у браконьеров. Всё добросовестно сдавал государству, но в последнее время, когда Скороход принял решение ехать на стройку, он вот эту лупару зажил, оставил себе.

В номере висели длинные шторы, за одной из которых и загаился Асиян Кирьянович. Ждал, томился. Ждать пришлось так долго, что он не выдержал, вышел руки-ноги подразмять, но тут же пришлось снова прятаться.

Ключ в замке зловеще заскрежетал.

Кто-то вошёл, что-то звякнуло.

Уборщица, баба крупнотелая, неповоротливая, едва не обнаружила его, когда взялась пыль протирать на подоконнике, находящемся рядом со шторкой. Пыль, потревоженная тряпкой, попала в носоглотку Скорохода. Запершило так, что слёзы подступили. Стоял, давился кашлем. Кое-как стерпел. После ухода уборщицы жадно воды хватанул из графина и увидел фотографию на столе: Ислам Ахметович Джафаров сидит в обнимку с симпатичной женщиной, а на коленях девчонка, курносый лупоглазый ангелочек. Жена и дочка, понял Скороход. И лучше бы ему эту фотографию не видеть. Сердце дрогнуло, готовое рассентиментальиться.

И тут замок опять заскрежетал.

Пришёл хозяин номера.

Скороход, за шторкою стоящий, наблюдал за ним сквозь дырку в плотной шторке — этот глазок был проделан заранее.

Собираясь выйти из укрытия, Скороход почему-то всё медлил и медлил. Сам себе не признаваясь, он немного оробел после появления Джафарова. Это был человек сильной воли и целеустремлённости, способный позвать за собою огромные массы. Незримая, но явственная энергетика сильной личности заполняла комнату и подавляла энергию Скорохода. То есть не подавляла, но всё-таки... на нервы капала...

Измотанный большим рабочим днём, Джафаров открыл холодильник, зазвякал посудой. На столе появились закуска, бутылка, рюмаха. Коротко стриженный, лобастый, с чёрной бабочкой усов под крупным носом, Джафаров утомлённо опустился в кожаное кресло. Уроженец Баку, он предпочитал запах родины и крепкий вкус её — азербайджанский коньяк на крыльях Аэрофлота прилетал к нему аж из Москвы.

«Святые угодники на пьяниц угодливы: что ни день, то праздник! — неприязненно скривился Скороход. — Это сколько же стоит пол-литра? Дороже зарплаты моей в рыбнадзоре!»

Джафаров острограммился, закусил оранжево-солнечной долькой лимона и, сидя в кресле, пошелестел какими-то казёнными бумагами, поднялся и почти бесшумно прошёл туда-сюда по толстому ковру, расшитому узорами. Загадочные эти восточные узоры, таящие в себе глубокий смысл, ничего не говорили Скороходу, а вот Ислам Ахметович этот ковёр читал, точно большую открытую книгу, — то и дело останавливался, глядя под ноги. А когда поднял глаза — невольно вздрогнул.

Около стола внезапно появился человек с белоснежной салфеткой в руке.

«Официант? — не понял Джафаров. — А когда он вошёл?»

— Надо стучать! — нахмурился хозяин номера. — Стучать? На кого? А вы знаете, как поступают со стукачами?

Джафаров повысил голос: — Кто вы такой? Что вам надо?

— Я — твой кошмар! — объявил Скороход и неожиданно улыбнулся — нервным тиком губы растянуло.

— Попрошу не тыкать. И попрошу на выход. — Сначала ты отсюда выйдешь. А точнее, тебя отсюда вынесут — вперёд ногами.

Белоснежная салфетка упала и в руке официанта оказался обрез — две чёрных круглых дырки почти в упор смотрели. Но Джафаров не испугался — скорей, удивился.

— Вы объясните, наконец, что происходит?

— Пожалуйста! — незнакомец руку сунул в пазуху и резко бросил под ноги Джафарову какую-то бумагу. — Прошу ознакомиться. Это приговор, который обжалованию не подлежит.

Ислам Ахметович бегло прочёл.

— Бред какой-то.

— Для кого-то бред, а для кого-то... — в тишине захрустели курки — заблестели на взвод. — Ты зачем сюда приехал, ирод? Ты бы в своём Азербайджане свой Аракс плотиной придушил или в Грузии угробил бы Куру. Или Терек, тот, который прыгает, как лбыца с косматой гривой на хребте.

Несмотря на то, что ситуация была крайне драматична, Джафаров хладнокровно заметил: — У лбыцы нету гривы.

— А это уже не ко мне — это к Лермонтову, — незнакомец направил оружие в лоб начальника стройки. — Ради чего ты хочешь Енисей угробить? Ради Звезды Героя? Жадность фраера сгубила, вот что я тебе скажу под занавес.

— Виноват! — неожиданно покаялся Джафаров. — Готов понести наказание! Только мне бы это... глоток на посошок...

— Валяй, — великодушно согласился Скороход, — я не зверь, я понимаю, можешь даже покурить.

— Благодарю. У нас в народе говорят: перед великодушием и горы отступают.

Начальник стройки набудзырил полный стакан коньяку и внезапно выплеснул в лицо Скорохода, будто огнём глаза опалил. Машинально вскинув руки, Скороход выронил обрез и тут же в номере шаркнул выстрел. Пуля прокусила край двери у плинтуса, пороховой дымок синим хвостом завиллял, проплывая по номеру, посредине которого завязалась бурная борьба.

Глава 8

Страшный сон, посвящённый убийству начальника стройки, заставил Скорохода глубоко задуматься. Имеет ли он право на подобный приговор? Нет, конечно. А с другой стороны — имеет ли право начальник стройки распоряжаться судьбой Енисея, судьбами людей, судьбами сёл, деревень? Кто ему дал такое право? Он что — Господь Бог? Вот и получается — кто кого пересилит, кто кого окажется правее. И что теперь делать? Оглобли назад поворачивать? Или всё-таки, как в той поговорке, лучше драться, нежели сдаться?..

Неизвестно, чем бы дело кончилось, но вскоре в эту историю вмешалось провидение: Ислам Ахметович нежданно-негаданно покинул кресло начальника строительства гЭС. Покинул, как сказано было в казённой бумаге, в связи с переводом на работу в Москву.

«Повезло тебе, Ислам-заде! — с облегчением вздохнул Скороход, улыбаясь нервной своей, железной улыбкой. — Но если к другому уходит невеста, ещё неизвестно, кому повезло. Если бы я согрешил, так, наверно, сейчас опять бы в Заполярье погнали по этапу».

Свято место пусто не бывает — как часто люди повторяют фразу эту, ореолом святости окружая то, что святостью не пахнет.

Короче, на место Ислам-заде вскоре приехал новый начальник строительства, этот был русский, бывший бывший военный, полковник инженерно-технической службы, человек, располагающий к себе, умеющий находить общий язык практически с любым и каждым. И от него — даже, наверно, сильней, чем от Джафарова, — валом валила энергия, сила духа и воли. И этот был способен позвать и за собою повести многие тысячи тысяч людей.

Асиян Кирьянович, накоротке пообщавшись с новым начальником стройки, затосковал: «В такого стрелять — рука не поднимется, и вообще... всех тут не перестреляешь, они как с ума посходили... И Волгу тоже, говорят, скоро будут плотиной душить».

Отчаявшись, он себя самого решил к расстрелу приговорить. Приехал в общежитие. Бездорожно, понуро, заплетаясь ногами, пошёл куда-то

на берег речки Лалетиной, журчащей неподалёку. Посмотрел на небо, думая, что смотрит в последний раз. Посмотрел на дорогу — такси проехало, взбудораживая пыль, распутивая птичьей мелюзгой, в кустах звенящую.

Такси подкатило к дверям общежития гидростроителей, из машины быстро вышли два человека — мужчина, слегка хромающий, и женщина, похожая то ли на цыганку, то ли на молдаванку; комсомольцы не смогли определить, потому что эти двое сразу стали сыпать вопросами, которые касались Скорохода, Седого Романтика.

— Да вон туда пошёл он пять минут назад, — подсказал один из ребятяг и показал направление.

В это время Асиян Кирьянович, облизнув сухие губы, хотел взвести курки, но помедлил, представляя, что будет после дуплета: грудь его так разворотит, что сердце и весь поганый ливер на десятки метров разлетятся к чертям собачьим, чтоб не сказать, к бездомным собакам, по округе рыскающим в поисках корма. Ну, так ему и надо, нечего жалеть.

И тут перед ним появился какой-то мужик, немного хромающий. Подбежал, отобрал «кулацкий» обрез и матерно выругался.

Это был Вершилин Георгий Матвеевич.

Мутными глазами глядя на него и не узнавая, Скороход потребовал:

— А ну отдай!

— Я дам — не унесёшь! — громко пригрозил Вершилин и, сплюнув, добавил потише: — С этим делом ты успеешь, а пока иди к жене.

— Куда? — лоб Скорохода скомкали морщины. — К жене? Какой жене?

— А у тебя их много? Ты султан? Падишах?

— А ты?.. Ты кто такой?..

Не отвечая, Георгий Матвеевич широко размахнулся, и короткоствольное оружие, сверкнув на солнце, взлетело над рекой, плеснулось тайменем и ушло в глубину.

— За этот обрез, между прочим, тебя надо судить! — строго напомнил Вершилин и, помолчав, развёл руками: — Но обреза нет. А на нет и суда нет. Чего стоишь? Иди! Там тебя, дурака, ждёт русалка, — Вершилин вздохнул, как человек, с делами управившийся. — Иди, говорю. А я домой поеду, вы уж тут как-нибудь сами...

Жена не ругала его, не корила — молча, нежно гладила по седой голове, молча смотрела с печалью столетий, с печалью, которой бывают отмечены глаза вот таких загадочных северных женщин. Скороход хотел ей что-то сказать, но только дрожащие губы кусал и уже до мяса, до крови докусался, чтобы не заплакать, не зареветь безутешным ребёнком на груди у жены.

Глава 9

По вагонам пассажирского поезда, на котором они уезжали, шагал какой-то странный бородастый

старикан, гармошку терзающий. Старикан христарничал, стараясь разжалобить народ песней про судьбу, неволю. А потом, когда увидел Скорохода, старикан внезапно замолчал, приглядываясь.

И вдруг провозгласил:

— О-о! Кого я вижу? Цезарь! Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!.. Сколько лет, сколько зим! Не пора ль в магазин? — широкая улыбка старикана — без единого зуба, только розоватые подковы дёсен. — Скороход? Ну, здорово! Ну как? Ты прошёл по воде аки посуху? Или я, Слепой Баян, тебе наврал?

Немало смущённый, растерянный Асиян Кирьянович с потаённой неприязнью разглядывал Слепого Баяна, странно одетого, обутого на босую ногу. Хотя лицо Баяна чисто выбрито, седые длинные волосья кучерявятся, как только что помытые и высушенные. Обращала на себя голова Баяна. Голова и раньше-то была большая — разлобастилась ещё больше. «Мудрец, однако!» — мельком подумал Скороход, но сказал о другом:

— А я тебя видел на крестном ходу, но глазам не поверил.

— И я тебя видел, не стал окликать. Домой, значит, поехал? Не жалеешь?

— О чём?

— О том, что страшный сон твой не воплотился в жизнь. Точнее — в смерть.

Зрачки у Слепого Баяна сильно расширены — это стало заметно, когда он посмотрел прямо в глаза Скороходу.

Ещё сильнее смущённый Скороход покосился на жену, пробормотал:

— Давай пластинку сменим.

Укоротив улыбку, Баян бесцеремонно рядышком присел.

— Пластинку сменить — не проблема. А вот как мы сменим руководство? Они же скоро вышибут дух из Енисея. Ты же видел, видел Дух Богатыря! Какой красавец, да? А эти шмакодявки хотят его сломать через колено! Я вчера пришёл на стройку к этим ударникам коммунистического труда. Прочитал им лекцию. И что ты думаешь? Они с комсомольским задором хотели меня утопить. Как Муму.

— Неужели? — не поверил Скороход. — Зачем? За что?

— За правду. Правда колет глаза. Да тебе ли не знать?

— И чего же ты им напредсказывал?

— Много, много чего хорошего. Эти умники скоро Енисей разденут догола и по миру пустят. Крулый год он будет голым не на двадцать километров, как это утверждают учёные умы, — Енисей на все двести километров забудет про ледоставы, про ледоходы. Только это ещё цветочки. Я говорю им: ребята, вот вы с комсомольским задором возводите Красноярскую ГЭС. Хребтом всего советского народа возводите. А знаете ли вы, что будет дальше? А дальше

будет фокус тот, которому зарукоплещет даже сатана. В начале двадцат первого века эта ваша гэс достанется захребетникам, дармоедам, которые будут сидеть за океаном — на острове Кипр. — Ты это серьёзно, Баян?

— А то я врал когда. Были патриоты, а станут — киприоты.

— Да как же это так может случиться?

— Такие придут времена, дорогой мой. О времена, о нравы! Цицерон был прав! — Баян помолчал, посмотрел за окно — там промелькнуло здание вокзала, украшенное красными знамёнами и транспарантами. — С патриотами и киприотами — история эта случится уже после того, как Советского Союза не будет и в помине. Разрушится наш нерушимый, да так, что разруху никто не наладит.

«А вот за такое пророчество и я утопил бы тебя, паразита!» — Скороход непроизвольно оглянулся — как бы кто не услышал.

— Пуганая ворона куста боится? Да, Скороход? Неужели ты так изменился? Ларошфуко однажды мне сказал: «Короли поступают с людьми как с монетами: они придают им цену по своему произволу...» — и снова Баян посмотрел ему прямо в глаза и продолжил: — Скороход! Мне наплевать на королей! Я знаю себе цену и никогда не позволю, чтоб кто-то меня обесценил. И ты не позволяй. А иначе зачем ты тогда убежал из Заполярья, ледяного Зазеркалья? — замолчав, Слепой Баян внезапно посмотрел на потолок — или сквозь потолок — и подытожил со вздохом: — Ну, вот и всё, ребята, мне пора. Карета ждать не будет. Я же вам не какой-нибудь Чацкий. Хотя, признаться, и у меня горе от ума, ребята, ох, большое горе. В девятом круге Ада горя меньше, чем у меня.

Он как-то резко, молодо поднялся, длинные седые волосы поправил и, неожиданно встряхнув гармошку, взялся наяривать «Прощание славянки», да только плохо взялся — толстые, подагрой подпорченные пальцы не попадали на нужные клавиши, из-за чего славянский марш пошёл не в ногу, пошёл хромая и спотыкаясь.

Эта печальная, диковинная встреча закончилась тем, что на очередной остановке к вагону подкатила карета скорой помощи, и два мордастых, дюжих санитаров подхватили Баяна под белые ручки.

Глава 10

Осень подкралась к небольшому районному центру, оседлавшему правый, крутояристый берег. День ото дня холодало. Закаты спелым колосом в полях за Енисеем золотились, бесшумно осыпаясь в ночные закрома.

За окнами палаты, где лежал Скороход, желтухой заболели деревья, кусты. Сентябрь выдался бездождевой, и даже утренники были сухоросными. Да и октябрь побаловал небесами

просторными, чистыми. Тихая, задумчивая осень всухомятку жевала поникшие травы на берегу Енисея, дразнившего голубым лоскутом — из окна палаты можно углядеть. Ах, какое время догорало! Как любил он эти осенины — проводы лета и встрече осени. Да разве можно в эту пору на больничной койке бока пролечь? Но ничего не поделаешь: болячка мала, да болезнь велика. Правда, Скороходу повезло: лежать в этой больнице любо-дорого. «Санатория! — сам себя подзуживал. — Болей на здоровье!» Жена тут работала сестрой милосердия, так что он находился в самой приличной палате, и всё остальное — грех жаловаться.

«Жена милосердия», как звал он её, самозабвенно хлопотала, стараясь отогнать хворобу. В это время на груди у неё, на подвеске, маячил какой-то загадочный талисман. В палате плавал синий дым сухой травы, сладковато-дурманящей. — Это Харги, — гортанным незнакомым голосом объясняла тунгуска, — Харги виноват.

— Карги? Какой карги?

— Харги — злой дух. Ты с ним в поезде встретился, вот и началась твоя болячка. Харги наболтал, а ты мало-мало поверил.

— По воде аки посуху, — пробормотал Скороход. — Хоть верь, хоть не верь, а сбывается. Он и про побег мой напророчил, и про то, что в марте пятьдесят третьего года кремлёвский хозяин помрёт, а стройка пятьсот три провалится в тартарары. Так неужели и это сбудется? То, что он в поезде наговорил?

— Ой, не надо, а то опять... — жена смотрела на градусник. — Вот, опять температура подскочила.

Внезапный жар сменился ледяным ознобом, и через минуту-другую Асиян Кирьянович лежал под капельницей, смутно сознавая, где он, что с ним и почему жена его — не хуже капельницы — капает крупными блестящими слезинами, забывая их стереть со щёк, на одной из которых, будто слезина, почерневшая от горя, подрагивала сырая родинка.

Хвороба оказалась непонятная, диковинная, современным врачам не знакомая. Только сам Скороход понимал, что происходит. Он смотрел в окно палаты и невольно морщился от того, что представлял: там, не сильно далеко, в верховьях Восточного Саяна, где вздыбились к небу Дивные горы, молодые, энергичные строители весело штурмуют Енисей, бетонными клещами перекрывают горло богатыря. В эти минуты ему становилось трудно дышать, будто не реку душили — его самого.

Но потихоньку-помаленьку Асиян Кирьянович одыбался — жена милосердия поставила на ноги.

Скорохода выписали. Внешне он выглядел бодро, а на самом-то деле что-то в нём сломалось, лопнула какая-то становая жила. Он душой занедужил. Стал сутулиться, теплее одеваться.

— Оленок, — однажды попросил, — печку затопи.
— А это как тебе? — жена открывала дверцу печи, внутри которой красно-бурыми тиграми, насильно загнанными в клетку, бушевал и бесился рычащий огонь.

— Топится? — удивлялся он и показывал широкую железную улыбку. — Оленок! Давай споём! Топится, топится в огороде баня, женится, женится мой милёнок Ваня...

Жена уходила на кухню, и плакала, и что-то жарила там, что-то парила, стряпала, а потом Асиян Кирьянович стал находить еду повсюду в доме, и в сенях, и в сарайке.

— Я не понял, Оленок. Это что такое?

— Надо всю пищу с Богом делить, Асиянка.

Он обалдел от услышанного. Он в ту пору не знал, что, по тунгусским поверьям, человек заболевает тогда, когда он не даёт есть Богу.

Выслушав рассказ жены, Скороход пожал плечами:

— Хорошо, давай делиться с Богом. Хотя у нас, у христиан, всё наоборот: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» Мы молился, чтобы Он дал. А выходит, что надо делиться.

Глава 11

Зима навалилась многоснежная, крепкая, перед Новым годом заминусило — под пятьдесят. Печь дрова глотала — истоплю за истоплей, но в доме всё равно было прохладненько. А на дворе — тем более. Краснобрюшка, так тут звали снегиря, синица-синюшка и воробей страх потеряли от стужи — залетали в сенцы и в сарай, как только дверь там или там открывалась. Енисей за огородом бұхал по ночам — лёд рвало от берега до берега.

«Давай, давай, — уныло подзадоривал Скороход, которому частенько не спалось, — погуляй, богатырь, напоследок. Скоро тут ни черта не останется от твоих алмазных гор, по весне встающих до небес. Или, может, набрехал Слепой Баян, лаптей наплёл? Советского Союза не будет? Вот сказанул. Совсем уже рехнулся. А куда же денется вся эта Эсэсэрия? На Луну улетит?»

Не привыкший, не любивший домоседничать, Асиян Кирьянович едва ли не всю зиму валялся на диване, пружинами звякал, с боку на бок вращаясь. Телевизор от скуки смотрел, но когда наткнулся на радостные новости о скором перекрестии, о покорении великой сибирской реки, подскочил с дивана, закричал:

— Сынок! Ты где? Ты дома? Принеси уютю!

Елисей, уже десятиклассник, сидевший за уроками, вышел из боковушки.

— Кого тебе? Уютю? Зачем?

— Я этих сволочей хочу пригладить! — Скороход сверкнул глазами в телевизор.

Жена милосердия, приходившая после работы, садилась рядом, гладила его и что-то шептала,

шептала на своём шаманском языке, и вскоре бедолага засыпал.

Наутро он попросил её сходить в библиотеку, дал список двух десятков разных книг, валялся опять на диване, читал, делая закладки, а иногда корявым ногтем подчёркивая строки — вот эти, например:

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдём под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживёт мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.

Глава 12

Всему свой час под небесами — душа согласна с каждою строкой Екклесиаста. Ещё не подоспело время тлеть — жизнь впереди была отпущена немалая. Асиян Кирьянович успел и на родину съездить, на Волгу, плотиной придушенную в 1958 году; постоял и поплакал над затопленным детством и юностью, над могилами родителей, оставшимися на дне. Успел он сына вырастить, крепко-характерного здоровяка. Недавно были проводы — новобранца увезли куда-то на восток.

В доме после шума-гама проводов сразу стало как-то сиротливо, пусто. Дом не только притих, он как будто ссутулился, съёжился. Тишину по ночам только мышь разгрызала где-то в дальнем углу, да ещё сверчок ей составлял компанию, мелодично играя на своём каком-то крохотном, изумительно звучащем инструменте.

Енисей к тому времени, так же как Волгу, захомутали плотиной — это случилось в марте 1963 года. И тогда, увы, сбилось очередное предсказание Слепого Баяна — река не замерзала больше чем на двести километров, несмотря на то, что вода холодная, перебаламученная турбинами, одни «моржи» купаться могут. Климат стал меняться не в лучшую сторону — влажный воздух делал своё гнилое дело.

Нежданно-негаданно в гости нагрянул флибустьер — капитан Прибылой. Раньше грозный, волевой, он выглядел подавленным, смурным. Вместо пружинистых чёрных кудрей — когда снял фуражку — отлакированно засверкала большая желтоватая лысина.

— Умные волосы покидают дурную голову, — он достал из сумки закуску, выпивон. — Врачи сказали: это, мол, у вас на нервной почве. Америку открыли, мать их так.

Хряпнув водки, флибустьер с трудом сдержался, чтоб слезу свинцовую в стакан не уронить. Застарелые шрамы на лице заплеменили от обиды и гнева. Он раньше-то ходил по Енисею — от самого Диксона до Абакана или Кызыла, а теперь закрыли, черти, путь-дорогу, заплотинили, всю душу флибустьеру порвали в лоскуты.

— Так там же, говорят, — Скороход не сразу вспомнил, — там же у них судовозная камера. Большие суда вроде как перевозят с одной стороны на другую.

— Камера? — флибустьер опять свирепо останакился, зарычал, матюги загибая. — Камера — она и есть камера. Хоть тюремная, хоть судовозная. Не пройдёшь теперь, как раньше. Обмелели шиверы, перекаты завшивели. Казачинский порог взрывчаткой подровняли.

— Да ты что? Неужели?

— Подровняли, ага, подстрогали, падлы, как рубанком, — каменные щепки из-под воды разлетались так, что стёкла раздрабализгивало в береговых домах, в ближайших банях.

Помолчав, капитан загляделся в бездонную пропасть холодно блестящего стакана и тихонько сам себя спросил:

— Застрелиться, что ли?

Скороход вздохнул:

— Я уже пробовал — не помогает.

— Да ну? Промалнул или как?

— Долго рассказывать.

Капитан уехал, а грусть-печаль осталась. Но самое грустное — или противное самое — было то, что Скороход почти смирился, согласился со всем происходящим вокруг да около. Может, так и надо? Может в этом-то и заключается мудрость — в смирении, в согласии с жизнью, в согласии с тем, что планета Земля крутится туда, куда крутилась тысячелетиями, и в другую сторону её не раскрутить?

Глава 13

И снова, как заведено от века, на Енисей пришла весна, только пришла уже без ледохода, без ледошума, пришла будто на цыпочках, будто в чём-то где-то провинившаяся. «А какая тут вина твоя, голуба? Это мы перед тобою виноваты!» — сокрушался Скороход, глядя на реку, в эту пору обычно приодетую льдом, а теперь как будто бесстыдно-голую.

Он сидел на берегу, на своей дырявой лодке, кверху брюхом перевёрнутой. Сидел и думал: всё, кранты, ледоставы, брат, остались в прошлом. И только в памяти отныне будут звоном звенеть ледоходы, как поднебесной молнией расколотые. Только из притока, из рукава речки Маны, как будто из рукава фокусника, весенней порой бриллиантовая мелочь высыпается, мелочь, так похожая на милостыню бывшему буйному богатырю, калекой ставшему, на паперть севшему.

Солнце пригревало, листвою одевало береговой краснотал, подснежники из-под земли вытягивало. Жизнь продолжалась, жизнь брала своё.

И вот в такую пору, когда солнце повернуло на тепло, когда весна защёлкала скворцами и ласточками, заблагоухала черёмухами, когда...

Ну, в общем, Скороход в один такой краснопогожий день очередную штуку отчебучил — внезапно вырядился, преобразился, мама не горюй. Новый чёрный костюмчик напялил, новую крахмальную рубаху, штiblеты со скрипом, тёмно-синюю шляпу, слегка помятую на полке шифоньера.

Алка-русалка ошалела, когда вошла в избу, — не узнала мужа. Потом она смеялась едва не впокатуху, пальцем тыкала в галстук, сидящий на нём как на корове седло.

— Темнота! — он отмахнулся. — И зачем я тебя из чума вытаскивал?

— А зачем ты всё это на себя навьючил, Асиянка?

— Завтра сын приедет на побывку. Телеграмму прислал.

— Ой! — жена поперхнулась остатками смеха. — Правда?

— Ну говорю же. Он там какой-то подвиг совершил. Не то чтоб грудью лёг на амбразуру, но... в общем, он сделал что-то такое, за что командование решило его отблагодарить. Понятно? Так что ты тоже давай приоденься, да и приготовить надо кое-что на стол. А я, — он поправил галстук, — пойду по селу людей приглашать. Событие-то будет вон какое...

До конца своих дней не утратив детской наивности, Алка-русалка даже не подумала спросить: «А где же телеграмма? Покажи!»

Сияя глазами, сверкая улыбкой, из которой за долгие годы не выпал ни единый зубок, Алка-русалка отправилась на кухню «шаманить мало-мало».

А Скороход, довольный сам собою, одоколом спрыснутый, одетый с иголочки, в новых штiblетах, напропалую потопал по весенней распутице. Перво-наперво в церковь зашёл, свечку поставил Николаю Угоднику. По поводу Бога, честно сказать, Скороход сомневался. Неужели Господь, если Он где-то там господствует, неужели Он смог бы допустить такое богохульство, какое сотворили с Енисеем, Волгой и другими реками на Руси великой? Ведь это же уму непостижимо: тысячи тысяч сёл, деревень и городов захлебнулись в рукотворном море-горе. Неужели Господь равнодушно смотрел бы на это? А с другой стороны — море крови, пролитой на разных войнах в разные века, и всё это тоже при молчаливом неучастии Творца. Как это понять? Разбирайтесь, мол, сами, дети мои? Или как-то иначе это надо уразуметь?

Глядя на пламя свечи, на иконы, Скороход покаянно вздыхал. Конечно, он пылинка, тля и не имеет права осуждать Творца, но мысли мелькают как молнии — не погасить, не сдержать.

После церкви прошёл он по двоим-троим односельчанам, долги, какие были, им отдал, простил браконьеров, когда-то в него стрелявших. Потом за огородом дома своего он долго стоял возле самой крошки Енисея. Задумчивый какой-то, замечтанный — смотрел и смотрел в предвечернюю даль, подкрашенную синькой и нежным багрецом, стекающим с отрогов Восточного Саяна. Улыбаясь чему-то, присел и погладил сырую шершавую щёку богатыря, что-то шёпотом сказал ему и встал. Шляпу снял и низко поклонился.

Домой возвратился он грустный, но всё ещё бодрый.

Потюкав топором, дровец не пожалел, полную печку наторкал, так что банька скоро протопилась. Потянуло берёзовым духом от веника, в тазу в кипятке размлевшего. Запахло знойным летом, соловей заслышался. Ай, хорошо, мать его. Мал соловей, да голос велик. Слушать бы — не переслушать. Однако ж надо и попариться маленько, и помыться. И после этого «священнодействия» так спокойно, чисто вдруг стало на душе у Скорохода, словно это был его первый день рождения.

Ночью долго не спалось. Лежал, смотрел в окошко, где мерцала звёздочка за Енисеем. Лежал и думал: «Вот ведь как! Сто лет живу, а толку? Всё казалось, вот-вот — и жар-птица в руках, пойму, разгадаю то, что люди называют смыслом жизни, а на самом-то деле в руках только перо из-под крыла или хвоста и больше ни черта, прости, Господи!».

Утренняя зорька алыми шелками окна занавесила. Петух разголосился — эхо за рекой закукарекало. — Оленок! — приподнимаясь на подушках, попросил он. — Принеси воды.

Она зачерпнула на кухне, вернулась.

— Нет, не эту.

— А какую?

— Из Енисея.

Жена поначалу пошла, а потом, отчего-то волнуясь, припустила бегом по огороду — река почти под пряслом протекала, плоскодонку старую нянчила на волнах, ещё перемешанных с бриллиантовым крошевом льда, выплывающего из речки Маны.

Минуты через три жена вернулась, на пороге едва не запнувшись, принесла, протянула стакан енисейской воды, в которой плескались белок ледышки и желток сырого солнца. Протянула и дрогнула сердцем, побледнела смуглыми щеками, осознавая, что никакой воды уже не надо человеку.

Глава 14

Турбины взревели на взлётном режиме, и под крылом пассажирского лайнера засверкала стальная полоска Амура, похожая на полотно изогнутой пилы, за многие века перепилившей мрачную бескрайнюю тайгу, горы и предгорья Дальнего Востока. Город Благовещенск покачнулся под крылом — на левом берегу Амура. А на правом

замаячил китайский мегаполис Хэйхэ. Вот уж поистине мир наш изумительно тесен: русский мир от китайского мира отделяют полкилометра. Так что на границе всякое бывает, вот почему тут служат только избранные, волевые, крепкие, сквозь огонь и воду не раз, не два прошедшие.

Сержант морской пехоты — на груди значок парашютиста — едва-едва влез в пассажирское кресло. Парень крупный, плечистый. Лицо породистое, хорошо приметное: широкие скулы, тёмно-русая щепотка усов, тонкий шрам на нижней, волевым усилием подтянутой губе.

Морской пехотинец, время от времени сильными пальцами нервно царапая треугольник тельняшки под горлом, сидел возле круглой проруби иллюминатора. Надёжно укрытая ледовитым стеклом, прорубь кое-где по краям серебряно заиндевала с той стороны, где в поднебесном океане белорыбницами проплывала редкая облачность.

Служивый этот был — Елисей Скороходов, разительно похожий на отца: такие же глаза, яснотиние, с детской наивинкой, широкий лобешник, подбородок с неглубокой рытвиной. Парня призывали полгода назад. Крепкий телом и духом, он лямку морпеха тянул на побережье Тихого океана и еле-еле выпрыгнул из этой лямки — на три дня отпустили на похороны.

Мысли кружились вокруг отца. Опять и опять вспоминалось, как батя протащил его, подростка, по всему Енисею — от истока до самого устья. Пацану, честно сказать, путешествие тогда показалось кошмарно-бедовым. А теперь представлялось оно — золотисто-медовым. Именно в ту пору, когда кругом гудел гнусавый гнус, комарьё куражилось, перепалили дожди вперемежку со снегом, именно тогда укреплялся в парне тот характер, который зовут сибирским, характер, потом так пригдоившийся в морской пехоте. Суровый старшина, бугай страшный, носивший безразмерные одежды — гимнастёрку, брюки, сапоги, — сразу новобранцам объявил: слабакам в рядах морской пехоты не фиг делать, если такие имеются — шаг вперёд и на кухню, мундиры с картошки сдирать, а всем остальным получить сухой паёк — и в горы на трое суток, там будет популярная наука выживания, наука побеждать. Выжили — в том смысле, что вытерпели, — немногие, среди которых оказался и он, Елисей Скороходов, а все другие — кто кашеваром, кто каптёром заделался.

«Так что, батя, спасибо тебе, спасибо и это... царствие небесное, как говорится!»

Настроение было — веселей не придумаешь. А тут ещё в салоне, в кресле по соседству, как нарочно, оказался крупномордый весёлый детина: коньяк лакал втихушку и закусывал чёрной дальневосточной икрой, о чём свидетельствовала чёрная икринка, бородавкой прилипшая под нижней губой.

На первых порах пассажир вёл себя добро-душно, громко травил анекдоты, рассказывал о своей работе на буровой. А потом, по мере того как пустел пузырь коньяка, буровик до того забу-рел, что начал хамить. Ему попробовали сделать замечание, но буровик берега потерял.

— Если кто-то будет возникать,—заявил он,—я этот ероплан угоню на какой-нибудь гнивающий Запад!

— Давай сначала в Красноярск,—мрачно сказал морской пехотинец,—и желательно тихо.

— Согласен,—буровик осклабился.— Но за отдель-ную плату.

— И сколько тебе дать?—многозначительно спро-сил морпех.

Буровик снисходительно посмотрел на него: — Да много ли найдётся у тебя, служивый? В кар-мане тока вошь на аркане, да? Потому и рожа такая похоронная.

По характеру этот служивый был похож на медведя в берлоге: если не трогать, он тоже не тронет. В этом скоро убедились однополчане, в первую очередь, конечно, старослужащие, «деды» безбородые, которых боялись многие, но только не Елисей-Скороход.

— Дядя!—он повернулся к буровику.—Ты парашю-т прихватить не забыл?

— Кого? Пару штук? У меня горбуша и лосось.

Морской пехотинец яростным взглядом вст-кнулся в мутно-серые глаза буровика.

— Залил шары, так и сиди, пока тебя не высадили без парашюта. Сидишь тут, выделываешься.

Подавив икоту, дёрнувшую горло, буровик пробасил:

— А я могу и встать.

— Лучше не надо, дядя, а то ляжешь.

— Ну, это как получился.

Пятернёй смахнув с губы икринку, буровик, тяжело поднявшись, оказался плечистым, высоко-рослым здоровяком—кудрявая башка под самый самолётный потолок.

«Если был бы он трезвый,—мелькнула мысль морского пехотинца,—с таким кабаном долгонько пришлось бы возиться».

Дальше самолёт летел спокойно, тихо, если не считать рабочий рёв турбин.

Глава 15

Сельское кладбище, как это испокон веков и полага-ется, клады свои хоронило на сухом бугристом берегу. Осенённое десятками берёз, оно светилось вечерами и по ночам—берёзы будто впитали в себя светлые души людей, тут погребённых. Души, правда, тут самые разные, и грешных немало, но, видно, больше всё-таки хороших, светлых, а иначе откуда свечение это? Когда луна, умытая, большая, выплывает из Енисея—это понятно, всё кругом тогда повысветляется. Но кладбище это

даже в безлунную, беззвёздную ночь изумительно светится—вот где тайна, вот где волшебство. Клад-бище старое, кое-где сохранились белокаменные надгробья, вертикальные какие-то часовенные столбы, а кое-где читаются обрывки надгробных эпитафий.

Хоронить никого тут не будут уже—кладбище переполнено: крайние могилы пошли в наклон, почти поползли по чернозёмному берегу, того и гляди, что гробы в реку начнут бултыхаться, отчаливать в дальнее плавание, откуда никто ещё не возвращался.

Могила Асияна Кирьяновича оказалась в хоро-шем месте, если это понятие здесь вообще приме-нительно. Алка-русалка надеялась на то, что ему, в Енисей влюблённому, тут будет любо-дорого лежать, слушать отдалённый взволнованный говор волны, переключку пароходов, гул моторок, длин-ными швами прошивающих реку вдоль и поперёк.

Над покойником уже отплакали те, кто плакать мог, уже сказали скромные слова прощания, когда среди берёз, среди крестов, стоящих в отдалении, замелькала фигура военного.

Елисей на похороны едва-едва успел: гробовые гвозди вколачивать готовились перед могилой, не совсем обычной—один её край был почему-то сильно заострён.

Засмотревшись на покойного отца, Елисей не сразу обратил внимание на гроб, который не был гробом в привычном понимании. Асиян Кирь-янович за несколько недель до смерти сам себе сострогал, сколотил домовину в виде просторной лодки—заострённая сосновая грудина, а по бокам бортов высверлены дырки для уключин.

— Чудил... учудил...—долетели до сына обрывки приглушённых разговоров.

Мать возле могильного бугра стояла долго.

Потом кто-то окликнул:

— Корчагаевна, там ждут, поехали.

В селе тунгуску звали Корчагаевна, хотя не скоро и не каждый запомнил это редкое отчество: отец—Корчагай. Тунгуску, много лет работав-шую сестрой милосердия, «лекаркой», уважали за открытость, граничащую с детской наивностью, за доброту, за кроткий нрав, за молчаливый харак-тер—никогда никакой побрехушки и сплетни Кор-чагаевна себе не позволяла, в отличие от многих большеротых, по сёлам и деревням проживающих, косточки друг дружке перемывающих. Однако же пацан какой-нибудь, анчутка сопливый, в спину кричал иногда: «Корчага! Рыбы дай!» Смирная тунгуска рыбы не давала, а вот Елисей, вставая на защиту матери, за огородами где-нибудь встречал обормота и давал такого хорошего леща, после которого можно и зуба не досчитать.

Елисей с малолетства за мамку стоял горой. Лю-бил. И поэтому сердце заныло, когда он увидел её, беспомощно-растерянную, заметно постаревшую

за эти похоронные дни и ночи. У матери прибавилось морщин, седых волос прибавилось в чёрно-смолистых косах, собранных тугими узлами под чёрным платком, повязанным, как тут говорили, «внахмурочку» — низко на лоб, на брови, тоской нахмуренные.

В доме пахло блинами. Видно, кто-то из старых сельчан подсказал, а может, сама Корчагаевна, давно обрусевшая, знала: кто печёт блины на поминки, печётся о насыщении души покойника.

После поминок, когда люди разошлись, морской пехотинец переоделся в гражданское, и только тогда Корчагаевна будто полностью признала сына — так необычно, так сильно военная форма отдаляла, отчуждала Елисея, парня возмужавшего.

Подсев поближе к сыну и вздыхая, мать покачала головой:

— Я вот не знаю, Лисейка, правильно, нет ли я сделала.

— А что ты сделала?

— Нарушила отцово завещание.

— Да? А чё там было?

— Завещал себя похоронить... — она заплакала, не досказав. — Ну, ты же видел гроб, сынок... ты же знаешь, как он с этим Енисеем...

— Видел. Знаю. Ну говори, говори: что завещал он?

— Гроб нужно было пустить по Енисею.

Елисей ошалело посмотрел на мать.

— Ты что? Серьёзно?

— Да, это не я — это он.

— Вот придумал тоже, ё-моё, — тихо возмутился парень, перенявший присказку родителя. — Мам, ты всё правильно сделала, не переживай. Он же всегда чудил... то с Чеховым встречался, то с Есениным дружил. Мне проходу в школе не давали. И даже перед смертью тоже выкомкал — чёрт-те что и сбоку бантик.

— Не надо так, сынок, нехорошо.

— Нет, ну а что? Неправда? Ты сама представь эту картину: гроб на Енисее. И долго он проплыл бы?

— Да я об этом думала, сынок, но завещание всё же, последняя воля.

— Это понятно. Я помню, батяня рассказывал мне про последнюю волю... Нет, мам, нет, не про свою. Это когда мы с ним ходили по Енисею. Он рассказывал, как старики, всю жизнь проработавшие на Казачинском пороге, перед смертью просили вынести их на берег, послушать порог. Он там грохочет, как этот... как будто камнепад. — Послушать? Ну дак это ещё ничего, это нормально.

— А ещё я помню... — Елисей поцарапал щепотку усов. — Помню, когда мы добрались до этой, до Угрюмой реки. Угрюм-река. Он говорил, что у тунгусов существует обычай такой — они людей хоронят воздушным способом. Гроб на дереве, значит.

Корчагаевна согласно покачала головой:

— Да, сынок, и мы так похоронили деда своего.

И только тут до парня вдруг дошло — покраснел. В паспорте записанный русским, он себя таковым и считал, да и весь его облик, доставшийся от родителя, голубоглазо и русоволосо говорил о Руси.

— Прости, мам, прости! — он замахал руками, точно отгоняя кого-то или что-то от себя. — Прости, совсем забыл, что я и сам тунгус, ну, хоть наполовину или как там...

— Забудешь тут, — согласилась мать, — горе такое.

Приободрённый тем, что был так легко прощён в непростительной своей забывчивости, Елисей продолжил тему «воздушного захоронения»:

— Вот говорят, что, мол, тунгусы и другие народы Севера гробы или колоды с покойниками на деревьях развешивают. А батя говорил мне, что у Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» «гроб качается хрустальный» — это, наверно, тоже воздушное погребение. Вот и он себе придумал. Только не воздушное, а водяное какое-то погребение.

— Уж придумал так придумал, — Корчагаевна, поправляя чёрный платок, седую прядку под него засунула. — Он бы, сынок, ещё пожил, дак этот сумасшедший в поезде...

— Кто? Какой сумасшедший?

— Да какой-то старик. Ходил по вагонам, на гармошке играл, потом узнал отца, они с ним где-то там, на Крайнем Севере... Ну и давай рассказывать, какие страсти скоро будут на Енисее. А для отца для нашего это острый нож, — мать утёрлась кончиком платка. — Ну да что теперь-то? Живым — живое. Ты, сынок, надолго?

— Билет на послезавтра.

— Вот и ладно, а то мне одной тут... — отсыревшим голосом пожаловалась мать и не стерпела — слёзы на скатерть закалапали.

— Ну хватит, мам, а то в избе мокруши заведутся! — с нарочитой грубостью окоротил Елисей.

— Не буду, не буду, — мать глаза подняла к потолку, чтобы слёзы не капали, и вдруг что-то вспомнила: — Я на вышку залезла вчера...

— На какую вышку?

— На чердак. Погоди, сынок, сейчас я тетрадку принесу. Это он мне сказал напоследок.

Тетрадка, пожелтевшая от времени, исписана была простым карандашом, а кое-где подправлена чернилами. Сверху стояло название — «Похвала Енисею». И страницы в тетрадке шуршала так странно, как будто волна за волной набегала.

.....
Дух Енисея встаёт, голубые глаза открывает в начале весны, когда март перетекает в апрель, а в конце апреля, полного опрелости, небеса над Сибирью разоблачаются, ополуденное солнце припекает, как оно может припекать в первовесенницу, по берегам снегобель загорается, по-жавороночьи

журчащие ручьи вприскокку убегают в первую, и нежные подснежники жёлтыми утятами из-под снега выныривают.

В такую пору Дух Енисея мечтательно млеет, томится предчувствием ледохода. Дух Енисея бредит по ночам, тоскует по вольной воде. Томление реки заметным делается в хороший яркий полдень, яростно горящий на сугробах, на торогах, дыбарем торчащих на селезне, ну, то бишь на стрежне: «стремнина», «стрежень», «селезень», «стрелка» и «струна» — так тут называет серединную, сердцевинную, животрепещущую жилу реки.

Солнце день за днём сильнее работает, не покладая рук своих — золотых мозолистых лучей. Ростепель растёт и ширится. Синеватым и сиреневым дымком испарины и нежным, еле зримым дыхом дышит ослепительное русло, там и тут стрекочет, словно бы сороки налетели. Всё громче, всё угроливей потрескивает русло, распуская молнии расколов по тяжелой толще зеленовато-голубых студёных крепей, которые будто бы не разломать. Но это только кажется, а на самом-то деле в назначенный день и в прописанный час происходят волшебные шалости: шука хвостом хлестанёт — и готово, если верить русскому присловью. Правда, волшебство это сомнительное — шука слишком мала для такого великого дела. Тут без дядьки водяного не обойдёшься. Это он, проснувшись, сладко потянувшись, продерёт глаза, бороду расчесет пятернёй и, зевая — рот шире ворот, посмотрит на свой календарь, возьмёт пешню, лопату, лом и затеет грозный ледолом.

Вот говорят: мол, сибирский характер. А откуда он, ребята? Где истоки? А сто́ит посмотреть на ледоход, на буйство ледолома, на роскошный разлив половодья, кипятком клочущего поверх коренных берегов, да посмотреть на многие другие выкрутасы Енисея по весне — вот тебе и разгадка, вот тебе и ответ, что такое сибиряк и с чем его едят.

В ту пору, о которой вспоминается, Дух Енисея был ещё не обузданным, не попавшим в тугую хомутину гидростанции. Дух Енисея по весне духарился так, что клочки летели по закоулочкам. Что вытворял он, бродяга, ох что вытворял. Горы алмазные, брильянтовые горы и кучи изумрудного добра Енисей тащил на хребтине своей, играючи всем подряд раздаривал, широко разбазаривал по берегам, осерёдкам, бросал на ухвостье, на острова, на огороды, на улицы прибрежных сёл и деревень. Зазнонистые щедрые гостинцы с барского плеча получали все, кто жил поблизости, кого любил этот весёлый богатырь, не знающий, куда растратить силу. А любил он не только людей — и зверей, и птиц, селящихся под боком. Но неспроста поэт предупреждал: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Входя в азарт, хмелея от вешней воды, как от водки, богатырь терял свою буйную головушку

и начинал куролесить — дурнопьяном бесился, лютовал по протокам, по старицам, по рукавам, по штанинам, островам, излучинам, лугам сенокосным и лайдам, трясинам болотным. Высокая вода большим коровым языком слизывала прибрежные избушки, бани и амбары, проглатывала, не прожевав. Уплывали стога, на задворках пузато стоящие. Рассыпанными спичками в водоворотах кувыркались брёвна, припасённые рачительным хозяином, приготовленные для распилки на зиму или для какой-нибудь рубленой постройки. Уплывало всё, что плохо лежит, куда дотянется рука богатыря. А дотянуться она могла далеко. На сенокосных полянах, бывало, льдины оставались кабанами сытыми лежать до солнцепёчного июня, жиром истекая и только что не хрюкая от удовольствия — кругом трава, цветочки, красота, и людям опять же подмога: косари посуду с молоком под крыгами студёными хранили, как в холодильнике. А иногда случалось и другое: льдины изумрудистые, аквамариновые, льдины серебристые, с оттенком киновари или охры, попадая на остров, заплывая в протоку, обсыхающую после половодья, — эти крупные льдины, искромётно истаивая, становились драгоценными камнями. И в ночь на Ивана Купалу в траве можно было найти изумрудный камешек, аквамариновый или серебряный. Только случалось это очень редко. А теперь и вовсе не случается — замутился Дух Енисея, трудно стало ему волновать, чудотворничать, сказки да побаски сочинять.

Однако же мы отвлеклись. Вернёмся туда, где трещит и шушит ледоход, сияющий полями серебра. Эти поля, эти широкие равнины богатырь начинает крушить и дробить. Льдины идут вразнобой, враспырку. И всё больше, больше, больше открывается чёрная пропасть воды. И всё гуще, всё шире шумит и гудит вешневодье. Разгулялся богатырь, всё и всех в округе подминает под себя. И родник маломальский пугливо стрекочет к нему. И притоки бегут на поклон, свежую кровь отдают Енисею, пудами волокут живое серебро и золотье разнорыбицы. И самые дальние, самые гордые головы гор — хочешь не хочешь, а надо — снежные шапки ломают, снимают перед этим своенравным богатырём, не говоря о мелких сопках, угорах или прибрежных скалах. Да что там горы, скалы или сопки — небо перед ним ломает лохматую шапку из туч-облаков и платит ему подати возвышенной водой, настоящей на свете звёзд, на лунном молоке. А богатырь как должное всё это принимает — как победитель с побеждённого народа.

Но ничто не вечно под луной, как, впрочем, и под солнцем, которое добралось наконец-то до вершины, до макушки весны и колесом покатило на лето красное, замелькало спицами лучей.

Небеса очистились — широко и далеко разгоризонтнулись. Никакому глазу от края и до края

не достать, не поймать ту дрожащую нитку, где сливается небо с землёй.

Енисей в эти дни вырезвляется, шарит и находит привычное своё береговье, привычную походку выправляет и виновато хмурится морщинами открывшейся воды. Теперь покаянно он будет вздыхать глубокими вздохами ветра, потеплевшей ладонью будет ласкать плакучие ивы, безутешно клонящие красные косы под берегом. Теперь-то что, теперь и добрым можно быть, когда тесная шуба ледовая, всю зиму теснившая, сброшена, когда только пуговки льда, сверкая, колышутся на тёмно-синей рубахе богатыря. В эти дни мужики-речники в работу впрягаются—обстановку обновляют на берегах, расставляют по фарватеру красно-белые матрёшки бакенов, или, лучше сказать, ваньки-встаньки бакенов, не поддающихся ни течению, ни штормящим шалостям.

Матушка-природа в эту пору принималась ворожить и привораживать. Солнечными нитками на тиховодах начинала матушка мерезить. Береговые луга и поляны вышиваются узорочьями ромашек, незабудок. Появляются жаркий, способные светиться во мгле и в дождливую непогоду. Медунца мёдом пахнет, зацветая. Ветреница с ветром о чём-то перешёптывается. Медвежья пучка пучится. Курослепы слепо тычутся кругом. Оранжево-дивные царские кудри франтовато кудрявятся. Иван-чай пламенеет. Ну и Марья где-то рядышком с Иваном: марьины коренья зацветают. А там, где кукушечка покуковала,—прорастают кукушкины слёзки. А там, где Анюта прошла,—Анютины глазки открылись. Да много, много красоты по берегам и долам—не пересчитать.

Конечно, всё это цвело не одномахом, так не бывает. В разное время и в разных местах по берегам Енисея ликовала весна, перволетье, в лето красное переходящее. В разное время и в разных местах земля полыхала семицветием радуг, будто с неба сошедших. И воздух будто переоделся в одежды свежие, духмяные. Воздух закипал и пузырился пчёлами, шумел шмелями, стрекотал стрекозами. На молодых сосёнках восковидные, тоненькие свечи зажигались—новые побеги потянулись к солнцу. Живица, окаменевшая за зиму, отмякла,

понежнела—по коре, как по грубой корявой щёке, потянула золотую слезу умиления. Листва на берёзах день ото дня из копейки в крупный рубль превращается. По низинам, где лежат оковалки последних снегов, черемша густеет, пряно дышит, когда её примнёт, разжужкает копыто сохача или медвежья лапа. Черемшою можно подкрепиться, особенно если в котомке имеется хлеба кусок или сало. Другое дело—вороний глаз, четыре лепестка крестом раскинувший и потому зовущийся крест-травой. Не дай Бог прикоснуться к вороньему глазу, свежим соком измазаться—будут ожоги, а то и похуже—кожу вздует волдырями и поточит язвами. Однако и это ещё не всё коварство глаза вороньего. От каких-нибудь семи-восьми дробинок, съеденных сдуру или с голоду, едоку обеспечен крест могильный от кошмарной этой крест-травы. Но не будем о грустном.

Лето входит в разгар золотой—широко раскрывает объятия. Солнце всюю распожарилось так, что вода прогревается на приглубках и даже глубинах. Рыба серебристыми иголками прошивает синий ситец и зеленоватенький сатин и, выходя на поверхность, распускает кружева и тянет сырую нитку следа за собой. В подводном царстве, в енисейском государстве шалеют и куражатся мужики и парни, которых тут зовут тайменями и осетрами, налимами, омулем. Шалеют и резвятся тётки и девчата—щуки, нельмы, пелядь и всё такое прочее. Не в силах выразить восторг словами, немая рыба хвостом по воде аплодирует лету, пришедшему в гости: насиделись, бедолаги, взаперти ледяного плена, где солнце, будто в мелкое оконце, только в прорубях еле-еле светит, но не греет. Радуются рыбы, хотя не каждой выпадает счастье—выпить полную чашу горячего лета, вдоволь напиться, наиграться. И человеку далеко не каждому выпадает счастье. Только это история уже совершенно другая, так что опять-таки не будем о грустном. Похвала Енисею не знает печали. То есть, конечно, знает, знает, но об этом как-нибудь потом, после дождичка в четверг. А пока что среда—огромная, прекрасная среда обетования, Богом данная, полная ветра и воли, солнца и надежды на успех, на любовь, на мир во всём мире.